

Константин Паустовский

Стальное колечко

Сказки. Рассказы. Повести

Сказки

Тёплый хлеб

Когда кавалеристы проходили через деревню Бережки, немецкий снаряд разорвался на окраине и ранил в ногу вороного коня. Командир оставил раненого коня в деревне, а отряд ушёл дальше, пыля и позванивая удилами, — ушёл, закатился за рощи, за холмы, где ветер качал спелую рожь.

Коня взял к себе мельник Панкрат. Мельница давно не работала, но мучная пыль навеки въелась в Панкрата. Она лежала серой коркой на его ватнике и картузе. Из-под картуза посматривали на всех быстрые глаза мельника. Панкрат был скорый на работу, сердитый старик, и ребята считали его колдуном.

Панкрат вылечил коня. Конь остался при мельнице и терпеливо возил глину, навоз и жерди — помогал Панкрату чинить плотину.

Панкрату трудно было прокормить коня, и конь начал ходить по дворам побираться. Постоит,

пофыркает, постучит мордой в калитку, и, глядишь, ему вынесут свекольной ботвы, или чёрствого хлеба, или, случалось даже, сладкую морковку. По деревне говорили, что конь ничей, а вернее, общественный, и каждый считал своей обязанностью его покормить. К тому же конь — раненый, пострадал от врага.

Жил в Бережках со своей бабкой мальчик Филька по прозвищу Ну тебя. Филька был молчаливый, недоверчивый, и любимым его выражением было: «Да ну тебя!» Предлагал ли ему соседский мальчишка походить на ходулях или поискать позеленевшие патроны, Филька отвечал сердитым басом: «Да ну тебя! Ищи сам!» Когда бабка выговаривала ему за неласковость, Филька отворачивался и бормотал: «Да ну тебя! Надоела!»

Зима в этот год стояла тёплая. В воздухе висел дым. Снег выпадал и тотчас таял. Мокрые вороны садились на печные трубы, чтобы обсохнуть, толкались, каркали друг на друга. Около мельничного лотка вода не замерзала, а стояла чёрная, тихая, и в ней кружились льдинки.

Панкрат починил к тому времени мельницу и собирался молоть хлеб — хозяйки жаловались, что мука кончается, осталось у каждой на два-три дня, а зерно лежит немолотое.

В один из таких тёплых серых дней раненый конь постучал мордой в калитку к Филькиной

бабке. Бабки не было дома, а Филька сидел за столом и жевал кусок хлеба, круто посыпанный солью.

Филька нехотя встал, вышел за калитку. Конь переступил с ноги на ногу и потянулся к хлебу.

— Да ну тебя! Дьявол! — крикнул Филька и наотмашь ударил коня по губам.

Конь отшатнулся, замотал головой, а Филька закинул хлеб далеко в рыхлый снег и закричал:

— На вас не напасёшься, на христарадников! Вон твой хлеб! Иди, копай его мордой из-под снега! Иди, копай!

И вот после этого злорадного окрика и случились в Бережках те удивительные дела, о каких и сейчас люди говорят, покачивая головами, потому что сами не знают, было ли это, или ничего такого и не было.

Слеза скатилась у коня из глаз. Конь заржал жалобно, протяжно, взмахнул хвостом, и тотчас в голых деревьях, в изгородях и печных трубах завыл, засвистел пронзительный ветер, вздул снег, запорошил Фильке горло. Филька бросился обратно в дом, но никак не мог найти крыльца — так уже мело кругом и хлестало в глаза. Летела по ветру мёрзлая солома с крыш, ломались скворечни, хлопали оторванные ставни. И всё выше взвивались столбы снежной пыли с окрестных полей, неслись на деревню, шурша, крутясь, перегоняя друг друга.

Филька вскочил, наконец, в избу, припёр дверь, сказал: «Да ну тебя!» — и прислушался. Ревела, обезумев, метель, но сквозь её рёв Филька слышал тонкий и короткий свист — так свистит конский хвост, когда рассерженный конь бьёт им себя по бокам.

Метель начала затихать к вечеру, и тогда только смогла добраться к себе в избу от соседки Филькина бабка. А к ночи небо зазеленело, как лёд, звёзды примёрзли к небесному своду, и колючий мороз прошёл по деревне. Никто его не видел, но каждый слышал скрип его валенок по твёрдому снегу: слышал, как мороз, озоруя, стискивал толстые брёвна в стенах, и они трещали и лопались.

Бабка, плача, сказала Фильке, что наверняка уже замёрзли колодцы и теперь их ждёт неминуемая смерть. Воды нет, мука у всех вышла, а мельница работать теперь не сможет, потому что река застыла до самого дна.

Филька тоже заплакал от страха, когда мыши начали выбегать из подпола и хорониться под печкой в соломе, где ещё оставалось немного тепла. «Да ну вас! Проклятые!» — кричал он на мышей, но мыши всё лезли из подпола. Филька забрался на печь, укрылся тулупчиком, весь трясся и слушал причитания бабки.

— Сто лет назад упал на нашу округу такой же лютый мороз, — говорила бабка. — Заморозил

колодцы, побил птиц, высушил до корня леса и сады. Десять лет после того не цвели ни деревья, ни травы. Семена в земле пожухли и пропали. Голая стояла наша земля. Обегал её стороной всякий зверь — боялся пустыни.

— Отчего же страся тот мороз? — спросил Филька.

— От злобы людской, — ответила бабка. — Шёл через нашу деревню старый солдат, попросил в избе хлеба, а хозяин, злой мужик, заспанный, крикливый, возьми и дай одну только чёрствую корку. И то не дал в руки, а швырнул на пол и говорит: «Вот тебе! Жуй!» — «Мне хлеб с полу поднять невозможно, — говорит солдат. — У меня вместо ноги деревяшка». — «А ногу куда девал?» — спрашивает мужик. «Утерял я ногу на Балканских горах в турецкой баталии», — отвечает солдат. «Ничего. Раз дюже голодный — подымешь, — засмеялся мужик. — Тут тебе камердинеров нету». Солдат покряхтел, изловчился, поднял корку и видит — это не хлеб, а одна зелёная плесень. Один яд! Тогда солдат вышел на двор, свистнул — и враз сорвалась метель, пурга, буря закружила деревню, крыши посрывала, а потом ударил лютый мороз. И мужик тот помер.

— Отчего же он помер? — хрипло спросил Филька.

— От охлаждения сердца, — ответила бабка,

помолчала и добавила: — Знать, и нынче завёлся в Бережках дурной человек, обидчик, и сотворил злое дело. Оттого и мороз.

— Чего ж теперь делать, бабка? — спросил Филька из-под тулупа. — Неужто помирать?

— Зачем помирать? Надеяться надо.

— На что?

— На то, что поправит дурной человек своё злодейство.

— А как его исправить? — спросил, всхлипывая, Филька.

— А об этом Панкрат знает, мельник. Он старик хитрый, учёный. Его спросить надо. Да неужто в такую стужу до мельницы добежишь? Сразу кровь остановится.

— Да ну его, Панкрата! — сказал Филька и затих.

Ночью он слез с печи. Бабка спала, сидя на лавке. За окнами воздух был синий, густой, страшный. В чистом небе над осокорями стояла луна, убранная, как невеста, розовыми венцами.

Филька запахнул тулупчик, выскочил на улицу и побежал к мельнице. Снег пел под ногами, будто артель весёлых пильщиков пилила под корень берёзовую рощу за рекой. Казалось, воздух замёрз и между землёй и луной осталась одна пустота — жгучая и такая ясная, что если бы подняло пылинку на километр от земли, то и её

было бы видно, и она светилась бы и мерцала, как маленькая звезда.

Чёрные ивы около мельничной плотины поседели от стужи. Ветки их поблёскивали, как стеклянные. Воздух колот Фильке грудь. Бежать он уже не мог, а тяжело шёл, загребая снег валенками.

Филька постучал в окошко Панкратовой избы. Тотчас в сарае за избой заржал и забил копытом раненый конь. Филька охнул, присел от страха на корточки, затаился. Панкрат отворил дверь, схватил Фильку за шиворот и втащил в избу.

— Садись к печке, — сказал он. — Рассказывай, пока не замёрз.

Филька, плача, рассказал Панкрату, как он обидел раненого коня и как из-за этого упал на деревню мороз.

— Да-а, — вздохнул Панкрат, — плохо твоё дело! Выходит, что из-за тебя всем пропадать. Зачем коня обидел? За что? Бессмысленный ты гражданин!

Филька сопел, вытирал рукавом глаза.

— Ты брось реветь! — строго сказал Панкрат. — Реветь вы все мастера. Чуть что нашкодил — сейчас в рёв. Но только в этом я смысла не вижу. Мельница моя стоит, как запаянная морозом навеки, а муки нет, и воды нет, и что нам придумать — неизвестно.

— Чего же мне теперь делать, дедушка

Панкрат? — спросил Филька.

— Изобрести спасение от стужи. Тогда перед людьми не будет твоей вины. И перед раненой лошадейю — тоже. Будешь ты чистый человек, весёлый. Каждый тебя по плечу потреплет и простит. Понятно?

— Понятно, — ответил упавшим голосом Филька.

— Ну, вот и придумай. Даю тебе сроку час с четвертью.

В сенях у Панкрата жила сорока. Она не спала от холода, сидела на хомуте — подслушивала. Потом она боком, озираясь, поскакала к щели под дверью. Выскочила наружу, прыгнула на перильца и полетела прямо на юг. Сорока была опытная, старая и нарочно летела у самой земли, потому что от деревень и лесов всё-таки тянуло теплом, и сорока не боялась замёрзнуть. Никто её не видел, только лисица в осиновом яру высунула морду из норы, повела носом, заметила, как тёмной тенью пронеслась по небу сорока, шарахнулась обратно в нору и долго сидела, почёсываясь и соображая: куда ж это в такую страшную ночь подалась сорока?

А Филька в это время сидел на лавке, ёрзал, придумывал.

— Ну, — сказал, наконец, Панкрат, затапывая махорочную сигарку, — время твоё вышло. Выкладывай! Льготного срока не будет.

— Я, дедушка Панкрат, — сказал Филька, — как рассветёт, соберу со всей деревни ребят. Возьмём мы ломы, пешни, топоры, будем рубить лёд у лотка около мельницы, покамест не дорубимся до воды и не потечёт она на колесо. Как пойдёт вода, ты пускай мельницу! Провернёшь колесо двадцать раз, она разогреется и начнёт молоть. Будет, значит, и мука, и вода, и всеобщее спасение.

— Ишь ты шустрый какой! — сказал мельник. — Подо льдом, конечно, вода есть. А ежели лёд толщиной в твой рост, что ты будешь делать?

— Да ну его! — сказал Филька. — Пробьём мы, ребята, и такой лёд!

— А ежели замёрзнете?

— Костры будем жечь.

— А ежели не согласятся ребята за твою дурь расплачиваться своим горбом? Ежели скажут: «Да ну его! Сам виноват — пусть сам лёд и скалывает»?

— Согласятся! Я их умолю. Наши ребята — хорошие.

— Ну, валяй, собирай ребят. А я со стариками потолкую. Может, и старики натянут рукавицы да возьмутся за ломы.

В морозные дни солнце восходит багровое, в тяжёлом дыму. И в это утро поднялось над

Бережками такое солнце. На реке был слышен частый стук ломов. Трещали костры. Ребята и старики работали с самого рассвета, скалывали лёд у мельницы. И никто сгоряча не заметил, что после полудня небо затянулось низкими облаками и задул по седым ивам ровный и тёплый ветер. А когда заметили, что переменялась погода, ветки ив уже оттаяли, и весело, гулко зашумела за рекой мокрая берёзовая роща. В воздухе запахло весной, навозом.

Ветер дул с юга. С каждым часом становилось всё теплее. С крыш падали и со звоном разбивались сосульки. Вороны вылезли из-под застрех и снова обсыхали на трубах, толкались, каркали.

Не было только старой сороки. Она прилетела к вечеру, когда от теплоты лёд начал оседать, работа у мельницы пошла быстро, и показалась первая полынья с тёмной водой.

Мальчишки стащили треухи и прокричали «ура». Панкрат говорил, что если бы не тёплый ветер, то, пожалуй, и не обколоть бы лёд ребятам и старикам. А сорока сидела на раките над плотиной, трещала, трясла хвостом, кланялась на все стороны и что-то рассказывала, но никто, кроме ворон, её не понял. А сорока рассказывала, что она долетела до тёплого моря, где спал в горах летний ветер, разбудила его, натрещала ему про лютый мороз и упростила его прогнать этот мороз, помочь людям.

Ветер будто бы не осмелился отказать ей,

сороке, и задул, понёсся над полями, посвистывая и посмеиваясь над морозом. И если хорошенько прислушаться, то уже слышно, как по оврагам под снегом бурлит-журчит тёплая вода, моет корни брусники, ломает лёд на реке.

Всем известно, что сорока — самая болтливая птица на свете, и потому вороны ей не поверили — покаркали только между собой, что вот, мол, опять завралась старая.

Так до сих пор никто и не знает, правду ли говорила сорока или всё это она выдумала от хвастовства. Одно только известно, что к вечеру лёд треснул, разошёлся, ребята и старики нажали — и в мельничный лоток хлынула с шумом вода.

Старое колесо скрипнуло — с него посыпались сосульки — и медленно повернулось. Заскрежетали жернова, потом колесо повернулось быстрее, ещё быстрее, и вдруг вся старая мельница затряслась, заходила ходуном и пошла стучать, скрипеть, молоть зерно.

Панкрат сыпал зерно, а из-под жёрнова лилась в мешки горячая мука. Женщины окунали в неё озябшие руки и смеялись.

По всем дворам кололи звонкие берёзовые дрова. Избы светились от жаркого печного огня. Женщины месили тугое сладкое тесто. И всё, что было живого в избах, — ребята, кошки, даже мыши, — всё это вертелось около хозяек, а хозяйки

шлёпали ребят по спине белой от муки рукой, чтобы не лезли в самую квашню и не мешались.

Ночью по деревне стоял такой запах тёплого хлеба с румяной коркой, с пригоревшими к донцу капустными листьями, что даже лисицы вылезли из нор, сидели на снегу, дрожали и тихонько скулили, соображая, как бы словчиться стащить у людей хоть кусочек этого чудесного хлеба.

На следующее утро Филька пришёл вместе с ребятами к мельнице. Ветер гнал по синему небу рыхлые тучи и не давал им ни на минуту перевести дух, и потому по земле неслись вперемежку то холодные тени, то горячие солнечные пятна.

Филька тащил буханку свежего хлеба, а совсем маленький мальчик Николка держал деревянную солонку с крупной жёлтой солью.

Панкрат вышел на порог, спросил:

— Что за явление? Мне, что ли, хлеб-соль подносите? За какие такие заслуги?

— Да нет! — закричали ребята. — Тебе будет особо. А это раненому коню. От Фильки. Помирить мы их хотим.

— Ну что ж, — сказал Панкрат. — Не только человеку извинение требуется. Сейчас я вам коня представлю в натуре.

Панкрат отворил ворота сарая, выпустил коня. Конь вышел, вытянул голову, заржал — учуял запах свежего хлеба. Филька разломил буханку,

посолил хлеб из солонки и протянул коню. Но конь хлеба не взял, начал мелко перебирать ногами, попятился в сарай. Испугался Фильки. Тогда Филька перед всей деревней громко заплакал. Ребята зашептались и притихли, а Панкрат потрепал коня по шее и сказал:

— Не пужайся, Мальчик! Филька — не злой человек. Зачем же его обижать? Бери хлеб, мирись!

Конь помотал головой, подумал, потом осторожно вытянул шею и взял, наконец, хлеб из рук Фильки мягкими губами. Съел один кусок, обнюхал Фильку и взял второй кусок. Филька ухмылялся сквозь слёзы, а конь жевал хлеб, фыркал. А когда съел весь хлеб, положил голову Фильке на плечо, вздохнул и закрыл глаза от сытости и удовольствия.

Все улыбались, радовались. Только старая сорока сидела на раките и сердито трещала: должно быть, опять хвасталась, что это ей одной удалось помирить коня с Филькой. Но никто её не слушал и не понимал, и сорока от этого сердилась всё больше и трещала как пулемёт.

Стальное колечко

Дед Кузьма жил со своей внучкой Варюшей в деревушке Моховое, у самого леса.

Зима выдалась суровая, с сильным ветром и

снегом. За всю зиму ни разу не потеплело и не закапала с тесовых крыш суетливая талая вода. Ночью в лесу выли продрогшие волки. Дед Кузьма говорил, что они воют от зависти к людям: волку тоже охота пожить в избе, почесаться и полежать у печки, отогреть заледенелую косматую шкуру.

Среди зимы у деда вышла махорка. Дед сильно кашлял, жаловался на слабое здоровье и говорил, что, если бы затянуться разок-другой — ему бы сразу полегчало.

В воскресенье Варюша пошла за махоркой для деда в соседнее село Переборы. Мимо села проходила железная дорога. Варюша купила махорки, завязала её в ситцевый мешочек и пошла на станцию посмотреть на поезда. В Переборах они останавливались редко. Почти всегда они проносились мимо с лязгом и грохотом.

На платформе сидели два бойца. Один был бородатый, с весёлым серым глазом. Заревел паровоз. Было уже видно, как он, весь в пару, яростно рвётся к станции из дальнего чёрного леса.

— Скорый! — сказал боец с бородой. — Смотри, девчоночка, сдует тебя поездом. Улетишь под небеса.

Паровоз с размаху налетел на станцию. Снег завертелся и залепил глаза. Потом пошли перестукиваться, догонять друг друга колеса. Варюша схватилась за фонарный столб и закрыла

глаза: как бы и вправду её не подняло над землёй и не утащило за поездом. Когда поезд пронёсся, а снежная пыль ещё вертелась в воздухе и садилась на землю, бородатый боец спросил Варюшу:

— Это что у тебя в мешочке? Не махорка?

— Махорка, — ответила Варюша.

— Может, продашь? Курить большая охота.

— Дед Кузьма не велит продавать, — строго ответила Варюша. — Это ему от кашля.

— Эх ты, — сказал боец, — цветок-лепесток в валенках! Больно серьёзная!

— А ты так возьми сколько надо, — сказала Варюша и протянула бойцу мешочек. — Покури!

Боец отсыпал в карман шинели добрую горсть махорки, скрутил толстую сигарку, закурил, взял Варюшу за подбородок и посмотрел, посмеиваясь, в её синие глаза.

— Эх ты, — повторил он, — анютины глазки с косичками! Чем же мне тебя отдарить? Разве вот этим?

Боец достал из кармана шинели маленькое стальное колечко, сдул с него крошки махорки и соли, потёр о рукав шинели и надел Варюше на средний палец:

— Носи на здоровье! Этот перстенёк совершенно чудесный. Гляди, как горит!

— А отчего он, дяденька, такой чудесный? — спросила, покрасневшись, Варюша.

— А оттого, — ответил боец, — что, ежели будешь носить его на среднем пальце, принесёт он здоровье. И тебе, и деду Кузьме. А наденешь его вот на этот, на безымянный, — боец потянул Варюшу за озябший, красный палец, — будет у тебя большущая радость. Или, к примеру, захочется тебе посмотреть белый свет со всеми его чудесами. Надень перстенёк на указательный палец — непременно увидишь!

— Будто? — спросила Варюша.

— А ты ему верь, — прогудел другой боец из-за поднятого ворота шинели. — Он колдун. Слыхала такое слово?

— Слыхала.

— Ну то-то! — засмеялся боец. — Он старый сапёр. Его даже мина не брала!

— Спасибо! — сказала Варюша и побежала к себе в Моховое.

Сорвался ветер, посыпался густой-прегустой снег. Варюша всё трогала колечко, повёртывала его и смотрела, как оно блестит от зимнего света.

«Что ж боец позабыл мне сказать про мизинец? — подумала она. — Что будет тогда? Дай-ка я надену колечко на мизинец, попробую».

Она надела колечко на мизинец. Он был худенький, колечко на нём не удержалось, упало в глубокий снег около тропинки и сразу нырнуло на самое снежное дно.

Варюша охнула и начала разгребать снег руками. Но колечка не было. Пальцы у Варюши посинели. Их так свело от мороза, что они уже не сгибались.

Варюша заплакала. Пропало колечко! Значит, не будет теперь здоровья деду Кузьме, и не будет у неё большущей радости, и не увидит она белый свет со всеми его чудесами. Варюша воткнула в снег, в том месте, где уронила колечко, старую еловую ветку и пошла домой. Она вытирала слёзы варежкой, но они всё равно набегали и замерзали, и от этого было колко и больно глазам.

Дед Кузьма обрадовался махорке, задымил всю избу, а про колечко сказал:

— Ты не горюй, дурочка! Где упало — там и валяется. Ты Сидора попроси. Он тебе сыщёт.

Старый воробей Сидор спал на шестке, раздувшись, как шарик. Всю зиму Сидор жил в избе у Кузьмы самостоятельно, как хозяин. С характером своим он заставлял считаться не только Варюшу, но и самого деда. Кашу он склёвывал прямо из мисок, а хлеб старался вырвать из рук и, когда его отгоняли, обижался, ершил и начинал драться и чирикать так сердито, что под стреху слетались соседские воробьи, прислушивались, а потом долго шумели, осуждая Сидора за его дурной нрав. Живёт в избе, в тепле, в сытости, а всё ему мало!

На другой день Варюша поймала Сидора, завернула в платок и понесла в лес. Из-под снега торчал только самый кончик еловой ветки. Варюша посадила на ветку Сидора и попросила:

— Ты поищи, поройся! Может, найдёшь!

Но Сидор скосил глаз, недоверчиво посмотрел на снег и пропищал:

«Ишь ты! Ишь ты! Нашла дурака!.. Ишь ты, ишь ты!» — повторил Сидор, сорвался с ветки и полетел обратно в избу.

Так и не отыскалось колечко.

Дед Кузьма кашлял всё сильнее. К весне он залез на печку. Почти не спускался оттуда и всё чаще просил попить. Варюша подавала ему в железном ковшике холодную воду.

Метели кружились над дереvушкой, заносили избы. Сосны завязли в снегу, и Варюша уже не могла отыскать в лесу то место, где уронила колечко. Всё чаще она, спрятавшись за печкой, тихонько плакала от жалости к деду и бранила себя.

— Дурёха! — шептала она. — Забаловалась, обронила перстенёк. Вот тебе за это! Вот тебе!

Она била себя кулаком по темени, наказывала себя, а дед Кузьма спрашивал:

— С кем это ты там шумишь-то?

— С Сидором, — отвечала Варюша. — Такой стал неслух! Всё норовит драться.

Однажды утром Варюша проснулась оттого,

что Сидор прыгал по оконцу и стучал клювом в стекло. Варюша открыла глаза и зажмурилась. С крыши, перегоняя друг друга, падали длинные капли. Горячий свет бил в оконце. Орала галки.

Варюша выглянула на улицу. Тёплый ветер дунул ей в глаза, растрепал волосы.

— Вот и весна! — сказала Варюша.

Блестели черные ветки, шуршал, сползая с крыш, мокрый снег, и важно и весело шумел за околицей сырой лес. Весна шла по полям, как молодая хозяйка. Стоило ей только посмотреть на овраг, как в нём тотчас начинал булькать и переливаться ручей. Весна шла, и звон ручьёв с каждым её шагом становился громче и громче.

Снег в лесу потемнел. Сначала на нём выступила облетевшая за зиму коричневая хвоя. Потом появилось много сухих сучьев — их наломало бурей ещё в декабре, — потом зажелтели прошлогодние палые листья, проступили проталины, и на краю последних сугробов зацвели первые цветы мать-и-мачехи.

Варюша нашла в лесу старую еловую ветку — ту, что воткнула в снег, где обронила колечко, и начала осторожно отгребать старые листья, пустые шишки, накиданные дятлами, ветки, гнилой мох. Под одним чёрным листком блеснул огонёк. Варюша вскрикнула и присела. Вот оно, стальное колечко! Оно ничуть не заржавело.

Варюша схватила его, надела на средний палец и побежала домой.

Ещё издали, подбегая к избе, она увидела деда Кузьму. Он вышел из избы, сидел на завалинке, и синий дым от махорки поднимался над дедом прямо к небу, будто Кузьма просыхал на весеннем солнышке и над ним курился пар.

— Ну вот, — сказал дед, — ты, вертушка, выскочила из избы, позабыла дверь затворить, и продуло всю избу легким воздухом. И сразу болезнь меня отпустила. Сейчас вот покурю, возьму колун, наготовлю дровишек, затопим мы печь и спечём ржаные лепёшки.

Варюша засмеялась, погладила деда по косматым серым волосам, сказала:

— Спасибо колечку! Вылечило оно тебя, дед Кузьма.

Весь день Варюша носила колечко на среднем пальце, чтобы накрепко прогнать дедовскую болезнь. Только вечером, укладываясь спать, она сняла колечко со среднего пальца и надела его на безымянный. После этого должна была случиться большущая радость. Но она медлила, не приходила, и Варюша так и уснула, не дождавшись.

Встала она рано, оделась и вышла из избы.

Тихая и тёплая заря занималась над землёй. На краю неба ещё догорали звёзды. Варюша пошла к лесу. На опушке она остановилась. Что это звенит

в лесу, будто кто-то осторожно шевелит колокольчики?

Варюша нагнулась, прислушалась и всплеснула руками: белые подснежники чуть-чуть качались, кивали заре, и каждый цветок позванивал, будто в нём сидел маленький жук кузька-звонарь и бил лапкой по серебряной паутине. На верхушке сосны ударил дятел — пять раз.

«Пять часов! — подумала Варюша. — Рань-то какая! И тишь!»

Тотчас высоко на ветвях в золотом зоревом свете запела иволга.

Варюша стояла, приоткрыв рот, слушала, улыбалась. Её обдало сильным, тёплым, ласковым ветром, и что-то прошелестело рядом. Закачалась лещина, из ореховых серёжек посыпалась жёлтая пыльца. Кто-то прошёл невидимый мимо Варюши, осторожно отводя ветки. Навстречу ему закуковала, закланялась кукушка.

«Кто же это прошёл? А я и не разглядела!» — подумала Варюша.

Она не знала, что это весна прошла мимо неё.

Варюша засмеялась громко, на весь лес, и побежала домой. И большущая радость — такая, что не охватишь руками, — зазвенела, запела у неё на сердце.

Весна разгоралась с каждым днём всё ярче, всё веселей. Такой свет лился с неба, что глаза у

деда Кузьмы стали узкие, как щёлки, но всё время посмеивались. А потом по лесам, по лугам, по оврагам сразу, будто кто-то брызнул на них волшебной водой, зацвели-запестрели тысячи тысяч цветов.

Варюша думала было надеть перстенёк на указательный палец, чтобы повидать белый свет со всеми его чудесами, но посмотрела на все эти цветы, на липкие берёзовые листочки, на ясное небо и жаркое солнце, послушала перекличку петухов, звон воды, пересвистывание птиц над полями — и не надела перстенёк на указательный палец.

«Успею, — подумала она. — Нигде на белом свете не может быть так хорошо, как у нас в Моховом. Это же прелесть что такое! Не зря ведь дед Кузьма говорит, что наша земля истинный рай и нету другой такой хорошей земли на белом свете!»

Дремучий медведь

Сын бабки Анисьи, по прозвищу Петя-большой, погиб на войне, и остался с бабкой жить её внучек, сын Пети-большого — Петя-маленький. Мать Пети-маленького, Даша, умерла, когда ему было два года, и Петя-маленький её совсем позабыл, какая она была.

— Всё тормошила тебя, веселила, — говорила бабка Анисья, — да, видишь ты, застудилась осенью и померла. А ты весь в неё. Только она была говорливая, а ты у меня дичок. Всё хоронишься по углам да думаешь. А думать тебе рано. Успеешь за жизнь надуматься. Жизнь долгая, в ней вон сколько дней! Не сочтёшь.

Когда Петя-маленький подрос, бабка Анисья определила его пасты колхозных телят.

Телята были как на подбор, лопухие и ласковые. Только один, по имени Мужичок, бил Петю шерстистым лбом в бок и брыкался. Петя гонял телят пастись на Высокую реку. Старый пастух Семён-чаёвник подарил Пете рожок, и Петя трубил в него над рекой, скликал телят.

А река была такая, что лучше, должно быть, не найдёшь. Берега крутые, все в колосистых травах, в деревьях. И каких только деревьев не было на Высокой реке! В иных местах даже в полдень было пасмурно от старых ив. Они окунали в воду могучие свои ветви, и ивовый лист — узкий, серебряный, вроде рыбки уклейки, — дрожал в бегучей воде. А выйдешь из-под чёрных ив — и ударит с полян таким светом, что зажмуришь глаза. Рощицы молодых осин толпятся на берегу, и все осиновые листья дружно блестят на солнце.

Ежевика на крутоярах так крепко хватала Петю за ноги, что он долго возился и сопел от

натуги, прежде чем мог отцепить колючие плети. Но никогда он, осердясь, не хлестал ежевику палкой и не топтал ногами, как все остальные мальчишки.

На Высокой реке жили бобры. Бабка Анисья и Семён-чаёвник строго наказывали Пете не подходить к бобровым норам. Потому что бобр зверь строгий, самостоятельный, мальчишек деревенских вовсе не боится и может так хватить за ногу, что на всю жизнь останешься хромой. Но Пете была большая охота поглядеть на бобров, и потому он ближе к вечеру, когда бобры вылезали из нор, старался сидеть тихонько, чтобы не напугать сторожкого зверя.

Однажды Петя видел, как бобр вылез из воды, сел на берегу и начал тереть себе лапами грудь, драть её изо всех сил, сушить. Петя засмеялся, а бобр оглянулся на него, зашипел и нырнул в воду.

А другой раз вдруг с грохотом и плеском обрушилась в реку старая ольха. Тотчас под водой молниями полетели испуганные плотицы. Петя подбежал к ольхе и увидел, что она прогрызена бобровыми зубами до сердцевины, а в воде на ветках ольхи сидят эти самые бобры и жуют ольховую кору. Тогда Семён-чаёвник рассказал Пете, что бобр сперва подтачивает дерево, потом нажимает на него плечом, валит и питается этим деревом месяц или два, глядя по тому, толстое оно

или не такое уж и толстое, как хотелось бобру.

В густоте листьев над Высокой рекой всегда было беспокойно. Там хлопотали разные птицы, а дятел, похожий на сельского почтаря Ивана Афанасьевича — такой же остроносый и с шустрым чёрным глазом, — колотил и колотил со всего размаха клювом по сухому осокорю. Ударит, отдернет голову, поглядит, примерится, зажмурит глаза и опять так ударит, что осокорь от макушки до корней загудит. Петя всё удивлялся — до чего крепкая голова у дятла! Весь день стучит по дереву, не теряет весёлости.

«Может, голова у него и не болит, — думал Петя, — но звон в ней стоит наверняка здоровый. Шутка ли — бить и бить целый день! Как только черепушка выдерживает!»

Пониже птиц, над всякими цветами — и зонтичными, и крестоцветными, и самыми невидными, как, скажем, подорожник, — летали ворсистые шмели, пчёлы и стрекозы.

Шмели не обращали на Петю внимания, а стрекозы останавливались в воздухе и, постреливая крылышками, рассматривали его выпуклыми глазищами, будто подумывали: ударить ли его в лоб со всего налёта, пугнуть с берега или не стоит с таким маленьким связываться?

И в воде тоже было хорошо. Смотришь на неё с берега — и так и подмывает нырнуть и поглядеть:

что там, в глубокой глубине, где качаются водоросли? И всё чудится, что ползёт по дну рак величиной с бабкино корыто, растопырил клешни, а рыбы пятятся от него, помахивают хвостами.

Постепенно и звери и птицы привыкли к Пете и, бывало, прислушивались по утрам: когда же запоёт за кустами его рожок? Сначала они привыкли к Пете, а потом полюбили его за то, что не озоровал: не сбивал палками гнёзд, не связывал стрекоз за лапки ниткой, не швырял в бобров камнями и не травил рыбу едучей известью.

Деревья тихонько шумели навстречу Пете — помнили, что ни разу он не сгибал, как другие мальчишки, тоненьких осинок до самой земли, чтобы полюбоваться, как они, выпрямившись, долго дрожат от боли и шелестят-жалуются листьями.

Стоило Пете раздвинуть ветки и выйти на берег, как сразу начинали щёлкать птицы, шмели взлетали и покрикивали: «С дороги! С дороги!», рыбы выскакивали из воды, чтобы похвастаться перед Петей пёстрой чешуёй, дятел так ударял по осокорю, что бобры поджимали хвосты и семенили в норы. Выше всех птиц взлетал жаворонок и пускал такую трель, что синий колокольчик только качал головой.

— Вот и я! — говорил Петя, стаскивал старую шапчонку и вытирал ею мокрые от росы щёки. —

Здравствуйте!

— Дра! Дра! — отвечала за всех ворона. Никак она не могла выучить до конца такое простое человеческое слово, как «здравствуйте». На это не хватало у неё вороньей памяти.

Все звери и птицы знали, что живёт за рекой, в большом лесу, старый медведь и прозвище у того медведя — Дремучий. Его шкура и вправду была похожа на дремучий лес: вся в жёлтых сосновых иглах, в давленной бруснике и смоле. И хоть старый это был медведь и кое-где даже седой, но глаза у него горели, как светляки, — зелёные, будто у молодого.

Звери часто видели, как медведь осторожно пробирался к реке, высовывал из травы морду и принюхивался к телятам, что паслись на другом берегу. Один раз он даже попробовал лапой воду и заворчал. Вода была холодная — со дна реки били ледяные ключи, — и медведь раздумал переплывать реку. Не хотелось ему мочить шкуру.

Когда приходил медведь, птицы начинали отчаянно хлопать крыльями, деревья — шуметь, рыбы — бить хвостами по воде, шмели — грозно гудеть, даже лягушки подымали такой крик, что медведь зажимал уши лапами и мотал головой.

А Петя удивлялся и смотрел на небо: не обкладывает ли его тучами, не к дождю ли раскричались звери? Но солнце спокойно плыло по

небу. И только два облачка стояли в вышине, столкнувшись друг с другом на просторной небесной дороге.

С каждым днём медведь сердился всё сильнее. Он голодовал, брюхо у него совсем отвисло — одна кожа и шерсть. Лето выпало жаркое, без дождей. Малина в лесу посохла. Муравейник разроешь — так и там одна только пыль.

— Беда-а-а! — рычал медведь и выворачивал от злости молодые сосенки и берёзки. — Пойду задеру телка. А пастушок заступится, я его придушу лапой — и весь разговор!

От телят вкусно пахло парным молоком, и были они совсем рядом — только и дела, что переплыть каких-нибудь сто шагов.

«Неужто не переплыву? — сомневался медведь. — Да нет, пожалуй, переплыву. Мой дед, говорят, Волгу переплывал и то не боялся».

Думал медведь, думал, нюхал воду, скрёб в затылке и наконец решился — прыгнул в воду, ахнул и поплыл.

Петя в то время лежал под кустом, а телята — глупые они ещё были — подняли головы, наставили уши и смотрят: что это за старый пенёк плывёт по реке? А у медведя одна морда торчит над водой. И такая корявая эта морда, что с непривычки не то что телок, а даже человек может принять её за трухлявый пенёк.

Первой после телят заметила медведя ворона.

— Карраул! — крикнула она так отчаянно, что сразу охрипла. — Звери, воррр!

Всполошились все звери. Петя вскочил, руки у него затряслись, и уронил он свой рожок в траву: посредине реки плыл, загребая когтистыми лапами, старый медведь, отплёвывался и рычал. А телята подошли уже к самому крутояру, вытянули шеи и смотрят.

Закричал Петя, заплакал, схватил длинный свой кнут, размахнулся. Кнут щёлкнул, будто взорвался ружейный патрон. Да не достал кнут до медведя — ударил по воде. Медведь скосил на Петю глаз и зарычал:

— погоди, сейчас вылезу на бережок — все кости твои пересчитаю. Что выдумал — старика кнутом бить!

Подплыл медведь к берегу, полез на крутояр к телятам, облизывается. Петя оглянулся, крикнул: «Подсобите!» — и видит: задрожали все осины и ивы и все птицы поднялись к небу. «Неужто все испугались и никто мне теперь не поможет?» — подумал Петя. А людей, как назло, никого рядом нету.

Но не успел он это подумать, как ежевика вцепилась колючими своими плетями в медвежьи лапы, и сколько медведь ни рвался, она его не пускала. Держит, а сама говорит: «Не-ет, брат,

шутишь!»

Старая ива наклонила самую могучую ветку и начала изо всех сил хлестать ею медведя по худым бокам.

— Это что ж такое? — зарычал медведь. — Бунт? Я с тебя все листья сдеру, негодница!

А ива всё хлещет его и хлещет. В это время дятел слетел с дерева, сел на медвежью голову, потоптался, примерился и как долбанёт медведя по темени! У медведя позеленело в глазах, и жар прошёл от носа до самого кончика хвоста. Взыл медведь, испугался насмерть, воет и собственного воя не слышит, слышит один хрип. Что такое? Никак медведь не догадается, что это шмели залезли ему в ноздри, в каждую по три шмеля, и сидят там, щекочут. Чихнул медведь, шмели вылетели, но тут же налетели пчёлы и начали язвить медведя в нос. А всякие птицы тучей вьются кругом и выщипывают у него шкуру волосок за волоском. Медведь начал кататься по земле, отбиваться лапами, закричал истошным голосом и полез обратно в реку.

Ползёт, пятится задом, а у берега уже ходит стопудовый окунь, поглядывает на медведя, дожидается. Как только медвежий хвост окунулся в воду, окунь хватъ, зацепил его своими ста двадцатью зубами, напряжился и потащил медведя в омут.

— Братцы! — заорал медведь, пуская пузыри. — Смилуйтесь! Отпустите! Слово даю... до смерти сюда не приду! И пастуха не обижу!

— Вот хлебнёшь бочку воды, тогда не придёшь! — прохрипел окунь, не разжимая зубов. — Уж я ли тебе поверю, Михайлыч, старый обманщик!

Только хотел медведь пообещать окуню кувшин липового мёда, как самый драчливый ёрш на Высокой реке, по имени Шипояд, разогнался, налетел на медведя и засадил ему в бок свой ядовитый и острый шип. Рванулся медведь, хвост оторвался, остался у окуня в зубах. А медведь нырнул, выплыл и пошёл махать сажёнками к своему берегу.

«Фу, — думает, — дёшево я отделался! Только хвост потерял. Хвост старый, облезлый, мне от него никакого толку».

Доплыл до половины реки, радуется, а бобры только этого и ждут. Как только началась заваруха с медведем, они кинулись к высокой ольхе и тут же начали её грызть. И так за минуту подгрызли, что держалась эта ольха на одном тонком шпеньке.

Подгрызли ольху, стали на задние лапы и ждут. Медведь плывёт, а бобры смотрят — рассчитывают, когда он подплывёт под самый под удар этой высоченной ольхи. У бобров расчёт всегда верный, потому что они единственные звери,

что умеют строить разные хитрые вещи — плотины, подводные ходы и шалаши.

Как только подплыл медведь к назначенному месту, старый бобр крикнул:

— А ну, нажимай!

Бобры дружно нажали на ольху, шпенёк треснул, и ольха загрохотала — обрушилась в реку. Пошла пена, буруны, захлестали волны и водовороты. И так ловко рассчитали бобры, что ольха самой серединой ствола угодила медведю в спину, а ветками прижала его к иловатому дну.

«Ну, теперь крышка!» — подумал медведь. Он рванулся под водой изо всех сил, ободрал бока, замутил всю реку, но всё-таки как-то вывернулся и выплыл.

Вылез на свой берег и — где там отряхиваться, некогда! — пустился бежать по песку к своему лесу. А позади крик, улюлюканье. Бобры свищут в два пальца. А ворона так задохнулась от хохота, что один только раз и прокричала: «Дуррак!», а больше уже и кричать не могла. Осинки мелко тряслись от смеха, а ёрш Шипояд разогнался, выскочил из воды и лихо плюнул вслед медведю, да не доплюнул — где там доплюнуть при таком отчаянном беге!

Добежал медведь до леса, едва дышит. А тут, как на грех, девушки из Окулова пришли по грибы. Ходили они в лес всегда с пустыми бидонами от

молока и палками, чтобы на случай встречи со зверем пугнуть его шумом.

Выскочил медведь на поляну, девушки увидели его — все враз завизжали и так грохнули палками по бидонам, что медведь упал, ткнулся мордой в сухую траву и затих. Девушки, понятно, убежали, только пёстрые их юбки метнулись в кустах.

А медведь стонал-стонал, потом съел какой-то гриб, что подвернулся на зуб, отдышался, вытер лапами пот и пополз на брюхе в своё логово. Залёг с горя спать на осень и зиму. И зарёкся на всю жизнь не выходить больше из дремучего леса. И уснул, хотя и побаливало у него то место, где был оторванный хвост.

Петя посмотрел вслед медведю, посмеялся, потом взглянул на телят. Они мирно жевали траву и то один, то другой чесали копытцем задней ноги у себя за ухом.

Тогда Петя стащил шапку и низко поклонился деревьям, шмелям, реке, рыбам, птицам и бобрам.

— Спасибо вам! — сказал Петя.

Но никто ему не ответил.

Тихо было на реке. Сонно висела листва ив, не трепетали осины, даже не было слышно птичьего щебета.

Петя никому не рассказал, что случилось на Высокой реке, только бабке Анисье: боялся, что не

поверят. А бабка Анисья отложила недовязанную варежку, сдвинула очки в железной оправе на лоб, посмотрела на Петю и сказала:

— Вот уж и вправду говорят люди: не имей сто рублей, а имей сто друзей. Звери за тебя не зря заступились, Петруша! Так, говоришь, окунь ему хвост начисто оторвал? Вот грех-то какой! Вот грех!

Бабка Анисья сморщилась, засмеялась и уронила варежку вместе с деревянным вязальным крючком.

Квакша

Жара стояла над землёй уже целый месяц. Взрослые говорили, что эту жару видно «невооружённым глазом».

— Как это можно увидеть жару? — спрашивала всех Таня.

Тане было пять лет, и потому она каждый день узнавала от взрослых много новых вещей. Действительно, можно было поверить дяде Глебу, что «сколько ни проживёшь на этом свете, хоть триста лет, а всего не узнаешь».

— Пойдём наверх, я тебе покажу жару, — сказал Глеб. — Оттуда лучше видно.

Таня вскарабкалась по крутой лестнице на мезонин. Там было светло и душно от нагретой

крыши. Ветки старого клёна так упорно лезли в окна, что окна трудно было закрыть. Может быть, поэтому они всё лето и простояли настежь.

На мезонине был балкон с резными перилами. Глеб показал Тане с балкона на луга за рекой и на дальний лес.

— Видишь жёлтый дым? Как от самовара. И весь воздух дрожит. Это и есть жара. Всё можно заметить человеческим глазом. И жару, и холод, что хочешь.

— А холод — когда снег? — спросила Таня.

— Нет. Даже летом можно заметить. Вот будут прохладные дни, тогда я тебе покажу, как выглядит холод.

— А как?

— Небо вечером бывает зелёное, как мокрая трава. Холодное небо.

Пока же стояла жара, и больше всех от неё страдала маленькая лягушка. Она жила во дворе, под кустом бузины.

Двор так раскалялся от солнца, что всё живое пряталось. Даже муравьи не решались выбегать днём из подземных своих муравейников, а терпеливо дожидались вечера. Только одни кузнечики не боялись жары. Чем горячее был день, тем выше они прыгали и громче трещали. Поймать их было невозможно, и лягушка начала голодать.

Однажды она нашла щель под дверью в

каменный погреб и с тех пор все дни просиживала, сонная, в погребе, на холодных кирпичных ступеньках.

Когда молоденькая работница Ариша спускалась в погреб за молоком, лягушка просыпалась, прыгала в сторону и пряталась за разбитый цветочный горшок. Ариша каждый раз пронзительно вскрикивала.

По вечерам лягушка вылезала во двор и осторожно пробиралась в тот угол, где на клумбе распускался к ночи табак и тесно росли кустистые астры. Цветы каждый вечер поливали из лейки, и потому на клумбе можно было дышать, — от политой земли тянуло сыростью, а с пахучих белых цветов табака изредка падали на голову холодные капли.

Лягушка сидела в темноте, таращила глаза и ждала, когда люди перестанут ходить, разговаривать, звенеть стаканами, стучать медным стерженьком от рукомойника и, наконец, прикрутят лампы, задуют их, и дом сразу делается тёмным и таинственным.

Тогда можно будет немного попрыгать по клумбе, пожевать листья астр, потрогать лапкой уснувшего шмеля, чтобы послушать, как он заворчит сквозь сон.

А потом прокашляются и закричат по всем дворам петухи и придёт полночь — самое хорошее

время. Может быть, даже упадёт роса и в мокрой траве заблестят звезды. Ночь будет тянуться долго, тихая и прохладная, и в лугах загудит нелюдимая птица выпь.

Бородатый Глеб был старым, опытным рыболовом. Каждый вечер он убирал со стола скатерть, осторожно высыпал из разных коробочек бронзовые золочёные крючки, круглые свинцовые грузила и прозрачные разноцветные лески и начинал чинить свои удочки. Тогда Тане не разрешалось подходить к столу, чтобы какой-нибудь «мушиный» крючок не впился ей в палец.

Когда Глеб чинил удочки, он всегда напевал одно и то же:

Сидел рыбак весёлый
На берегу реки,
И перед ним по ветру
Качались поплавки.

Но в это лето Глебу пришлось туго — из-за засухи пропали черви. Даже самые шустрые мальчишки отказывались их копать.

Глеб пришёл в отчаяние и написал на воротах дома огромными белыми буквами:

«ЗДЕСЬ ПРОИЗВОДИТСЯ СКУПКА

ЧЕРВЕЙ ОТ НАСЕЛЕНИЯ»

Но это тоже не помогло. Прохожие останавливались, читали надпись, с восхищением качали головами: «Ну и хитрый же человек, чего написал!» — и шли дальше. А на второй день какой-то мальчишка приписал внизу такими же огромными буквами:

«В ОБМЕН НА КАРТОФЕЛЬНОЕ ВАРЕНИЕ»

Пришлось стереть надпись.

Глеб начал ходить за три километра в овраг, где под кучами старых щепок можно было накопать за час десятка два червей.

Глеб их берёт, будто эти черви были золотые: перекладывал сырым мхом, завязывал банку с червями марлей и держал её в тёмном погребе.

Там-то их и отыскала маленькая лягушка. Она долго трудилась, пока стащила марлю, потом залезла в банку и начала есть червей. Она так увлеклась, что не заметила, как в погреб спустился Глеб, вытащил её из банки за задние лапки и вынес во двор. Там Таня кормила злую подслеповатую курицу.

— Вот! — сказал Глеб грозным голосом. — Человек трудится в поте лица, чтобы нарыть хоть

десяток червей, а нахальная лягушка бесовестно их ворует. И даже научилась развязывать марлю. Придётся её проучить.

— Как? — спросила с испугом Таня, а курица искоса посмотрела на лягушку прищуренным глазом.

— Отдать её на съедение этой курице — и всё!

Лягушка отчаянно задрыгала лапками, но вырваться ей не удалось. Курица взъерошилась, взлетела и чуть было не вырвала лягушку у Глеба.

— Не смей! — закричала Таня на курицу и заплакала. Курица отбежала в сторону, поджала лапу и стала ждать, что будет дальше.

— Дядя Глеб, зачем же её убивать? Дай её мне.

— Чтобы она опять воровала?

— Нет. Я её посажу в стеклянную банку и буду кормить. Разве тебе самому её не жалко?

— Ну ладно! — согласился Глеб. — Бери, так и быть. Ни за что бы я её не простил, если бы ты не заступилась. И если бы это была обыкновенная лягушка.

— А разве она необыкновенная? — спросила Таня и перестала плакать.

— А ты не видишь? Это древесная лягушка, квакша. Она замечательно предсказывает дождь.

— Вот она его нам и предскажет, — с

облегчением вздохнула Таня и скороговоркой повторила слова, которые каждый день слышала от плотника Игната: — Дождик ой как нужен! А то хлеба и огороды посохнут, и тогда не миновать беды!

Глеб отдал лягушку Тане. Она посадила её в банку с травой и поставила на подоконник.

— Веточку нужно какую-нибудь засунуть в банку, — посоветовал Глеб.

— Зачем?

— Когда она влезет на веточку и начнет квакать, значит, будет дождь.

А дождя всё не было. Лягушка, сидя в банке, слушала разговоры людей о засухе и тяжело дышала — жить в банке было, конечно, безопасно, сытно, но душно.

Однажды ночью лягушка вылезла по кленовой ветке из банки и осторожно, останавливаясь и прислушиваясь, поскакала в сад. Там, в беседке, под крышей, жила в гнезде ласточка.

Лягушка тихонько квакнула, и ласточка тотчас выглянула из гнезда.

— Тебе чего? — спросила она. — Весь день носишься-носишься, даже звон в голове стоит. А тут ещё и ночью каждый будит, отдохнуть не даёт.

— Ты сначала послушай, а потом будешь чирикать, — ответила лягушка. — Я тебя никогда ещё не будила.

— Ну ладно, рассказывай, — ответила ласточка и зевнула. — Что у тебя стряслось?

Тогда лягушка рассказала ласточке, что девочка Таня спасла её, лягушку, от смерти и она, лягушка, всё думала, что бы такое хорошее сделать для Тани. И вот, наконец, придумала, но без ласточкиной помощи ничего не получится.

Люди очень тревожатся оттого, что нет дождя. Всё сохнет. Хлеб может сгореть на корню. Даже для них, для птиц и лягушек, пришло трудное время — пропали червяки и улитки.

Лягушка слышала, как отец Тани, агроном, говорил о засухе, а Таня слушала его и заплакала — ей было жалко и отца, и всех колхозников, что мучаются из-за этой засухи. Лягушка видела, как Таня стояла однажды около высохшего куста малины, трогала почерневшие, ломкие листья и тоже плакала. И ещё лягушка слышала, как Танин отец говорил, что люди скоро придумают искусственный дождь. Но пока этого дождя ещё нет, и людям надо помочь.

— Помочь-то надо, — ответила ласточка. — Только как? Дождь отсюда далеко, за тысячу километров. Я вчера до него немного не долетела. А видеть видела. Сильный дождь, обложной. Только он сюда не дойдёт — весь выльется по дороге.

— А ты его приведи, — попросила лягушка.

— Легко сказать — приведи. Да и не наше это, ласточкино, дело. Это стрижей надо просить. Они быстрее летают.

— А ты поговори со стрижами.

— Так с ними и поговоришь. Сама небось знаешь, что за народ. Одного какого-нибудь стриженка нечаянно крылом зацепишь — не оберёшься неприятностей. Сейчас же в драку лезут. Крик, шум, писк.

Лягушка отвернулась, и из её глаз скатилась в траву маленькая слеза.

— Ну что ж, — прошептала она, — уж если вы, ласточки, не можете привести дождь, тогда со стрижами и говорить нечего.

— Это как так — не можем? — рассердилась ласточка. — Кто это тебе сказал? Мы всё можем. Даже увернуться от молнии и обогнать самолёт. Для нас дождь привести — пустое дело. Только надо всех ласточек собрать, со всей области. Ласточка почистила клюв лапкой, подумала. — Ну ладно! Не реви. Пригоним сюда дождь.

— А когда? — спросила лягушка.

Ласточка снова почесала клюв лапой.

— Это надо сообразить. Не так просто. Собрать всех ласточек — два часа. Лететь до дождя тоже два часа. Обратно с дождём лететь потруднее. Часа четыре пролетим, не меньше. Часов в десять утра будем здесь. Ну, прощай!

Ласточка перелетела на скворечню, пискнула и исчезла за тесовыми крышами.

Лягушка вернулась в дом. Там все спали.

Лягушка влезла в банку, взобралась на ветку клёна и тихонько квакнула. Никто не проснулся. Тогда она квакнула громче, потом ещё громче, ещё и ещё, и вскоре её кваканье заполнило все комнаты, стало слышно в саду. И по всей деревне в ответ на него сразу всполошились и заорали петухи. Они старались перекричать друг друга, срывали голоса, сипли и снова орали, неистово хлопая крыльями. Они подняли такой гомон, что со сна можно было подумать, будто в деревне пожар.

В доме все сразу проснулись.

— Что случилось? — спросонок спросила Таня.

— Дождь будет! Дождь! — ответил ей из соседней комнаты отец. — Слышишь, квакша кричит? И петухи заголосили по всем дворам. Верная примета.

Глеб вошёл со свечой в комнату к Тане и осветил на банку с лягушкой.

— Ну так и есть, — сказал он. — Так я и думал! Квакша влезла на ветку и кричит, надрыгается. Даже позеленела от натуги.

Утро пришло, как всегда, безоблачное, но часам к десяти далеко на западе громыхнул и рассыпался по полям первый гром.

Колхозники вышли на обрыв над рекой и смотрели на запад, прикрыв глаза ладонями. Ребята полезли на крыши. Ариша начала торопливо подставлять под все водосточные трубы лоханки и вёдра. Отец Тани каждую минуту выходил во двор, смотрел на небо, прислушивался и всё повторял: «Лишь бы не мимо, лишь бы захватила нас эта гроза».

Таня ходила следом за ним и тоже прислушивалась.

Гром подходил ближе. Его раскаты стали торжественнее и шире. На западе поднялась чёрная туча Глеб спешно собирал свои удочки и смазывал сапоги, — после грозы должен был начаться, по его словам, бешеный клёв.

Потом в воздухе запахло свежестью дождя. Сад тихонько зашумел листвою, туча придвинулась, и весёлая молния как бы распахнула во всю глубину огромное небо.

Первая капля дождя звонко ударила по железной крыше. Тотчас стало так тихо, будто все прислушивались к этому звуку и затаив дыхание ждали второй капли. Сам дождь тоже прислушивался и соображал, правильно ли он уронил эту первую пробную каплю. И, помедлив, решил, что правильно, потому что вдруг сразу сорвался и загрохотал по крыше тысячами капель. За окнами полились-заблестели полноводные струи

дождя.

— Идите сюда! — закричал с мезонина Глеб. — Скорее!

Все побежали по лестнице на мезонин, а Таня, конечно, отстала.

Сверху все увидели, как тысячи, а может быть, десятки тысяч маленьких птиц гнали над землёй дождевую тучу, не давали ей свернуть в сторону, бросались на неё несметными стаями, и от ветра, поднятого их крыльями, туча всё ниже опускалась к земле и нехотя шла, ворча и гроыхая, на иссохшие поля и огороды.

Иные птицы подхватывали на лету отдельные струйки дождя и неслись с ними вперёд, будто волочили за собой прозрачные водяные нитки.

Иногда все птицы сразу встряхивали крыльями. Тогда дождь усиливался и так гремел, что на мезонине все перекрикивались и не слышали друг друга.

— Что это такое? — прокричала Таня. — Птичий дождь?

— Не понимаю, — ответил Танин отец. — А ты что-нибудь соображаешь, Глеб?

— Ничего не соображаю, — ответил Глеб. — Похоже на всемирный перелёт ласточек.

Когда грохот дождя по крыше перешёл в ровный и спокойный гул и пронеслись все ласточки, Таня выпустила лягушку из банки в

свежий и шумный сад. Там вся трава и листья качались от ударов дождя.

Таня осторожно погладила лягушку по маленькой холодной голове и сказала:

— Ну, спасибо тебе, что накликала дождь. Ты живи теперь спокойно, тебя никто не тронет.

Лягушка посмотрела на Таню и ничего не ответила. Она не могла выговорить на человеческом языке ни одного слова. Она умела только квакать. Но во взгляде её была такая преданность, что Таня ещё раз погладила её по голове.

Лягушка прыгнула под листья табака и начала ёжиться и отряхиваться — купаться под дождём.

С тех пор лягушку никто не трогал, Ариша перестала взвизгивать, когда встречалась с ней, а Глеб каждый день откладывал для неё из своей заветной «червивой» банки несколько лучших червей.

А вокруг густо заколосились хлеба, политые дождём, засверкали от света сырые сады, огороды, запахло сочными огурцами, помидорами и буйным укропом. И рыба начала клевать так жадно, что каждый день обрывала у Глеба драгоценные золочёные крючки.

Таня бегала по саду, играла в прятки с лягушкой, и платье её промокло от росы. Любопытные паучки суетливо спускались с веток

на невидимых паутинках, чтобы узнать, почему в саду столько возни и смеха. Узнав, в чём дело, они успокаивались, сматывали свои паутинки в серые шарики, маленькие, как булабочные головки, и засыпали в тёплой тени листьев.

Похождения жука-носорога

Когда Пётр Терентьев уходил из деревни на войну, маленький сын его Стёпа не знал, что подарить отцу на прощание, и подарил наконец старого жука-носорога. Поймал он его на огороде и посадил в коробок от спичек. Носорог сердился, стучал, требовал, чтобы его выпустили. Но Стёпа его не выпускал, а подсовывал ему в коробок травинки, чтобы жук не умер от голода. Носорог травинки сгрызал, но всё равно продолжал стучать и браниться.

Стёпа прорезал в коробке маленькое оконце для притока свежего воздуха. Жук высовывал в оконце мохнатую лапу и старался ухватить Стёпу за палец — хотел, должно быть, поцарапать от злости. Но Стёпа палец не давал. Тогда жук начинал с досады так жужжать, что мать Стёпы Акулина кричала:

— Выпусти ты его, лешего! Весь день жундит и жундит, голова от него распухла!

Пётр Терентьев усмехнулся на Стёпин

подарок, погладил Стёпу по голове шершавой рукой и спрятал коробок с жуком в сумку от противогаза.

— Только ты его не теряй, сбереги, — сказал Стёпа.

— Нешто можно такие гостинцы терять, — ответил Пётр. — Уж как-нибудь сберегу.

То ли жуку понравился запах резины, то ли от Петра приятно пахло шинелью и чёрным хлебом, но жук присмирел и так и доехал с Петром до самого фронта.

На фронте бойцы удивлялись жуку, трогали пальцами его крепкий рог, выслушивали рассказ Петра о сыновнем подарке, говорили:

— До чего додумался парнишка! А жук, видать, боевой. Прямо ефрейтор, а не жук.

Бойцы интересовались, долго ли жук протянет и как у него обстоит дело с пищевым довольствием — чем его Пётр будет кормить и поить. Без воды он, хотя и жук, а прожить не сможет.

Пётр смущённо усмехался, отвечал, что жуку дашь какой-нибудь колосок — он и питается неделю. Много ли ему нужно?

Однажды ночью Пётр в окопе задремал, выронил коробок с жуком из сумки.

Жук долго ворочался, раздвинул щель в коробке, вылез, пошевелил усиками, прислушался. Далеко гремела земля, сверкали жёлтые молнии.

Жук полез на куст бузины на краю окопа, чтобы получше осмотреться. Такой грозы он ещё не видал. Молний было слишком много. Звёзды не висели неподвижно на небе, как у жука на родине, в петровской деревне, а взлетали с земли, освещали всё вокруг ярким светом, дымились и гасли. Гром гремел непрерывно.

Какие-то жуки со свистом проносились мимо. Один из них так ударил в куст бузины, что с него посыпались красные ягоды. Старый носорог упал, прикинулся мёртвым и долго боялся пошевелиться. Он понял, что с такими жуками лучше не связываться — уж очень много их свистело вокруг.

Так он пролежал до утра, пока не поднялось солнце. Жук открыл один глаз, посмотрел на небо. Оно было синее, тёплое, такого неба не было в его деревне. Огромные птицы с воем падали с этого неба, как коршуны. Жук быстро перевернулся, стал на ноги, полез под лопух — испугался, что коршуны его заклюют до смерти.

Утром Пётр хватился жука, начал шарить кругом по земле.

— Ты чего? — спросил сосед-боец с таким загорелым лицом, что его можно было принять за негра.

— Жук ушёл, — ответил Пётр с огорчением. — Вот беда!

— Нашёл об чём горевать, — сказал

загорелый боец. — Жук и есть жук, насекомое. От него солдату никакой пользы сроду не было.

— Дело не в пользе, — возразил Пётр, — а в памяти. Сынишка мне его подарил напоследок. Тут, брат, не насекомое дорого, а дорога память.

— Это точно! — согласился загорелый боец. — Это, конечно, дело другого порядка. Только найти его — всё равно что махорочную крошку в океане-море. Пропал, значит, жук.

Старый носорог услышал голос Петра, зажужжал, поднялся с земли, перелетел несколько шагов и сел Петру на рукав шинели. Пётр обрадовался, засмеялся, а загорелый боец сказал:

— Ну и шельма! На хозяйский голос идёт, как собака. Насекомое, а котелок у него варит.

С тех пор Пётр перестал сажать жука в коробок, а носил его прямо в сумке от противогаза, и бойцы ещё больше удивлялись: «Видишь ты, совсем ручной сделался жук!»

Иногда в свободное время Пётр выпускал жука, а жук ползал вокруг, выискивал какие-то корешки, жевал листья. Они были уже не те, что в деревне. Вместо листьев берёзы много было листьев вяза и тополя. И Пётр, рассуждая с бойцами, говорил:

— Перешёл мой жук на трофейную пищу.

Однажды вечером в сумку от противогаза подуло свежестью, запахом большой воды, и жук

вылез из сумки, чтобы посмотреть, куда это он попал.

Пётр стоял вместе с бойцами на пароме. Паром плыл через широкую светлую реку. За ней садилось золотое солнце, по берегам стояли ракиты, летали над ними аисты с красными лапами.

— Висла! — говорили бойцы, зачерпывали манерками воду, пили, а кое-кто умывал в прохладной воде пыльное лицо. — Пили мы, значит, воду из Дона, Днепра и Буга, а теперь попьём и из Вислы. Больно сладкая в Висле вода.

Жук подышал речной прохладой, пошевелил усиками, залез в сумку, уснул.

Проснулся от сильной тряски. Сумку мотало, она подскакивала. Жук быстро вылез, огляделся. Пётр бежал по пшеничному полю, а рядом бежали бойцы, кричали «ура». Чуть светало. На касках бойцов блестела роса.

Жук сначала изо всех сил цеплялся лапками за сумку, потом сообразил, что всё равно ему не удержаться, раскрыл крылья, снялся, полетел рядом с Петром и загудел, будто подбодряя Петра.

Какой-то человек в грязном зелёном мундире прицелился в Петра из винтовки, но жук с налёта ударил этого человека в глаз. Человек пошатнулся, выронил винтовку и побежал.

Жук полетел следом за Петром, вцепился ему в плечи и слез в сумку только тогда, когда Пётр

упал на землю и крикнул кому-то: «Вот незадача! В ногу меня задело!» В это время люди в грязных зелёных мундирах уже бежали, оглядываясь, и за ними по пятам катилось громовое «ура».

Месяц Пётр пролежал в лазарете, а жука отдали на сохранение польскому мальчику. Мальчик этот жил в том же дворе, где помещался лазарет.

Из лазарета Пётр снова ушёл на фронт — рана у него была лёгкая. Часть свою он догнал уже в Германии. Дым от тяжёлых боев был такой, будто горела сама земля и выбрасывала из каждой лощинки громадные чёрные тучи. Солнце меркло в небе. Жук, должно быть, оглох от грома пушек и сидел в сумке тихо, не шевелясь.

Но как-то утром он задвигался и вылез. Дул тёплый ветер, уносил далеко на юг последние полосы дыма. Чистое высокое солнце сверкало в синей небесной глубине. Было так тихо, что жук слышал шелест листа на дереве над собой. Все листья висели неподвижно, и только один трепетал и шумел, будто радовался чему-то и хотел рассказать об этом всем остальным листьям.

Пётр сидел на земле, пил из фляжки воду. Капли стекали по его небритому подбородку, играли на солнце. Напившись, Пётр засмеялся и сказал:

— Победа!

— Победа! — отозвались бойцы, сидевшие рядом.

Один из них вытер рукавом глаза и добавил:

— Вечная слава! Стосковалась по нашим рукам родная земля. Мы теперь из неё сделаем сад и заживём, братцы, вольные и счастливые.

Вскоре после этого Пётр вернулся домой. Акулина закричала и заплакала от радости, а Стёпа тоже заплакал и спросил:

— Жук живой?

— Живой он, мой товарищ, — ответил Пётр. — Не тронула его пуля. Воротился он в родные места с победителями. И мы его выпустим с тобой, Стёпа.

Пётр вынул жука из сумки, положил на ладонь.

Жук долго сидел, озирался, поводил усами, потом приподнялся на задние лапки, раскрыл крылья, снова сложил их, подумал и вдруг взлетел с громким жужжанием — узнал родные места. Он сделал круг над колодцем, над грядкой укропа в огороде и полетел через речку в лес, где аукались ребята, собирали грибы и дикую малину. Стёпа долго бежал за ним, махал картузом.

— Ну вот, — сказал Пётр, когда Стёпа вернулся, — теперь жучище этот расскажет своим про войну и про геройское своё поведение. Соберёт всех жуков под можжевельником, поклонится на

все стороны и расскажет.

Стёпа засмеялся, а Акулина сказала:

— Будя мальчику сказки рассказывать. Он и впрямь поверит.

— И пусть его верит, — ответил Пётр. — От сказки не только ребятам, а даже бойцам одно удовольствие.

— Ну разве так! — согласилась Акулина и подбросила в самовар сосновых шишек.

Самовар загудел, как старый жук-носорог. Синий дым из самоварной трубы заструился, полетел в вечернее небо, где уже стоял молодой месяц, отражался в озёрах, в реке, смотрел сверху на тихую нашу землю.

Заботливый цветок

Есть такое растение — высокое, с красными цветами. Цветы эти собраны в большие стоячие кисти. Называется оно кипрей.

Об этом кипрее я и хочу рассказать.

Прошлым летом я жил в маленьком городке на одной из наших полноводных рек. Около этого городка сажали сосновые леса.

Как всегда в таких городках, на базарной площади весь день стояли телеги с сеном. Около них спали мохнатые лошадёнки. К вечеру стадо, возвращаясь из лугов, подымало красную от заката

пыль. Охрипший громкоговоритель передавал местные новости.

Однажды я шёл перед вечером мимо базарной площади в лесничество. Оно помещалось на окраине городка над рекой. Среди улицы мальчишки играли в футбол. Громкоговоритель висел на телеграфном столбе. Он неожиданно защёлкал, откашлялся и сказал басом:

«Ребята! Напоминаем, что завтра в шесть часов утра состоится поход в Моховой лес для сбора сосновых шишек из беличьих запасов. Руководить походом будет сотрудница лесничества Анна Петровна Заречная».

Я не мог понять, о каких беличьих запасах идёт речь. Кого бы расспросить об этом? Мальчишки продолжали гонять мяч, будто они и не слышали громового голоса из чёрной тарелки на столбе. Из окна в соседнем домишке высунулась старушка.

— Петя! — закричала она дребезжащим голосом. — Кузя! Ступайте домой, неслухи. Завтра спозаранку в лес идти, а вы футбол затеяли. Я вас на заре подымать не буду. Я вам не будильник.

— Счас! — закричали в ответ мальчишки. — Последний гол забьём!

Неожиданно футбольный мяч угодил в козу, привязанную к крылечку. Коза вскрикнула, взвилась на дыбы и оборвала верёвку. Мальчишки

бросились врассыпную. Из всех окошек высунулись разгневанные хозяйки.

— Озорники! — закричали хозяйки. — Вот скажем Анне Петровне, чтобы она вас в лес не брала.

Я пошёл дальше. За углом я увидел мальчиков. Они, оказывается, прятались там от хозяек.

— Ребята, — спросил я мальчиков, — что это за беличьи запасы, про которые объявляли по радио?

Мальчики наперебой начали рассказывать мне, что никто лучше белок не умеет собирать сосновые шишки.

— Они их себе на зиму запасают! — кричали мальчики. — Складывают в дупла. Да ты не толкайся, дай мне сказать. Белка только здоровые шишки берёт.

— Без нас эти шишки никто и не достанет! — закричал мальчик с отчаянными синими глазами. — Дупло высоко. А мы туда — раз-раз! Мигом долезем и все шишки выберем.

— А вам белок не жалко? — спросил я.

— Белки не обижаются! — закричали, волнуясь, мальчики. — Они за два-три часа опять полное дупло натаскают.

— Вы в лесничество идёте? — спросил меня мальчик с синими глазами.

— Да, в лесничество.

— Мы давно заметили, что вы туда ходите. Так вы, пожалуйста, Анне Петровне про козу не рассказывайте. Мы в неё мячом случайно попали.

Я пообещал ничего не говорить Анне Петровне. Но даже если бы я ей и рассказал про случай с козой, то Анна Петровна (все в лесничестве её звали Анютой) на мальчиков не рассердилась бы, потому что сама была молодая, весёлая и только год назад окончила лесной техникум.

Около дома, где помещалось лесничество, разросся по склону оврага тенистый сад. По дну оврага протекала речушка. Тут же невдалеке она впадала в большую реку.

Речушка была тихая, с ленивым течением и густыми зарослями по берегам. В этих зарослях была протоптана к воде тропинка, а около неё стояла скамейка. В свободные минуты лесничий Михаил Михайлович, Аня и другие сотрудники лесничества любили немного посидеть на этой скамейке, посмотреть, как толчётся над водой мошкара и как заходящее солнце догорает на облаках, похожих на парусные корабли.

В этот вечер я застал Михаила Михайловича и Анюту на скамейке на берегу реки.

В омуте у наших ног плавала необыкновенно зелёная рыбка. На чистых местах цвёл водокрас —

белые и тонкие, как папиросная бумага, цветы с красной сердцевинкой. Выше омота на крутом берегу островами разросся кипрей.

— Кипрей — это наш помощник, — заметил Михаил Михайлович.

— И белки тоже неплохие помощники, — добавила Аня.

— О белках я узнал только что, — сказал я. — От мальчиков. Это правда, что вы отбираете у белок сосновые шишки?

— А как же! — ответила Аня. — Лучших сборщиков шишек, чем белки, нету на свете. Пойдёмте с нами завтра в лес. Сами увидите.

— Ну что ж, — согласился я. — Пойдёмте. А вот кипрей чем вам помогает, я не знаю. До сих пор я только знал, что его листья заваривают вместо чая.

— Потому его и прозвали в народе иван-чаем, — объяснил Михаил Михайлович. — А помогает он нам вот чем...

Михаил Михайлович начал рассказывать.

Кипрей всегда разрастается на лесных пожарищах и порубках. Недавно ещё кипрей считали сорной травой. Он только и годился, что на дешёвый чай. Лесники безжалостно вырывали весь кипрей, что выросал рядом с молодыми сосенками. Делали это они потому, что считали, будто кипрей заглушает побеги сосен, отнимает у них свет и

влагу.

Но вскоре заметили, что сосенки в тех местах, где уничтожен кипрей, совсем не могут бороться с холодом и от первых же утренних морозов, какие бывают в начале осени, начисто погибают.

Учёные, конечно, начали искать причину этого и наконец нашли.

— Что же оказалось? — спросил Михаил Михайлович и сам себе ответил: — А оказалось, что кипрей — очень тёплый цветок. Когда ударит осенний мороз и иней посеребрит траву, то около кипрея инея нету. Потому что вокруг кипрея стоит тёплый воздух. Этот цветок выделяет из себя теплоту. И в этой теплоте растут себе без страха все соседи кипрея, все слабенькие побеги, пока зима не прикроет их, как ватным одеялом, глубоким снежком. И заметьте, что кипрей всегда разрастается рядом с молодыми соснами. Это их сторож, их защитник, их нянька. Бывает, в сильный мороз у кипрея отмёрзнет вся верхушка, а он всё равно не сдаётся, живёт и дышит теплотой. Самоотверженный цветок!

— Кипрей, — сказала Анюта, — не только воздух обогревает, но и почву. Так что и корешки всех этих побегов не замерзают.

— Вы думаете, один кипрей такой замечательный? — спросил меня Михаил Михайлович. — Почти про каждое растение можно

рассказать такие удивительные вещи, что вы просто ахнете. Что ни цветок, то прямо рассказ. Растения спасают нас от болезней, дают крепкий сон, свежие силы, одевают, кормят — всего не перечесть. Нет у нас лучших друзей, чем растения. Да если бы я умел рассказывать сказки, я бы о каждой травинке, о каждом каком-нибудь незаметном маленьком лютике или колоске порассказал бы такое, что все старые добрые сказочники мне бы позавидовали.

— Ещё бы! — сказала Анята. — Если бы они знали тогда то, что мы знаем сейчас, тогда и сказок не надо бы.

На следующий день я ходил вместе с мальчиками и Анятой в Моховой лес, видел беличьи склады сосновых шишек, видел заросли кипрея на горях и молодых посадках, и с тех пор я начал относиться и к белкам, и к цветам кипрея, и к молодым сосенкам как к своим верным друзьям.

Перед отъездом я сорвал кисть кипрея. Анята высушила её мне в сухом песке. От этого цветы не потеряли своей яркой пунцовой окраски.

У себя в Москве я заложил эту сухую кисть кипрея в толстую книгу. Называлась она «Русские народные сказки». И каждый раз, когда я открывал эту книгу, я думал о том, что жизнь, окружающая нас, хотя бы жизнь вот этого простенького и скромного цветка, бывает интереснее самых волшебных сказок.

Растрёпанный воробей

На старых стенных часах железный кузнец ростом с игрушечного солдатика поднял молот. Часы щёлкнули, и кузнец ударил с оттяжкой молотом по маленькой медной наковальне. Торопливый звон посыпался по комнате, закатился под книжный шкаф и затих.

Кузнец ударил по наковальне восемь раз, хотел ударить и девятый, но рука у него вздрогнула и повисла в воздухе. Так, с поднятой рукой, он и простоял целый час, пока не пришёл срок пробить по наковальне девять ударов.

Маша стояла у окна и не оглядывалась. Если оглянешься, то нянюшка Петровна непременно проснётся и погонит спать.

Петровна дремала на диване, а мама, как всегда, ушла в театр. Она танцевала в театре, но никогда не брала с собой туда Машу.

Театр был огромный, с каменными колоннами. На крыше его взвивались на дыбы чугунные лошади. Их сдерживал человек с венком на голове — должно быть, сильный и храбрый. Ему удалось остановить горячих лошадей у самого края крыши. Копыта лошадей висели над площадью. Маша представляла себе, какой был бы переполох, если бы человек не сдержал чугунных лошадей: они сорвались бы с крыши на площадь и промчались с

громом и звоном мимо милиционеров.

Все последние дни мама волновалась. Она готовилась впервые танцевать Золушку и обещала взять на первый же спектакль Петровну и Машу.

За два дня до спектакля мама вынула из сундука сделанный из тонкого стекла маленький букет цветов. Его подарил маме Машин отец. Он был моряком и привёз этот букетик из какой-то далёкой страны.

Потом Машин отец ушёл на войну, потопил несколько фашистских кораблей, два раза тонул, был ранен, но остался жив. А теперь он опять далеко, в стране со странным названием Камчатка, и вернётся не скоро, только весной.

Мама вынула стеклянный букет и тихо сказала ему несколько слов. Это было удивительно, потому что раньше мама никогда не разговаривала с вещами.

— Вот, — прошептала мама, — ты и дождался.

— Чего дождался? — спросила Маша.

— Ты маленькая, ничего ещё не понимаешь, — ответила мама. — Папа подарил мне этот букет и сказал: «Когда ты будешь в первый раз танцевать Золушку, обязательно приколи его к платью после бала во дворце. Тогда я буду знать, что ты в это время вспомнила обо мне».

— А вот я и поняла, — сказала сердито Маша.

— Что ты поняла?

— Всё! — ответила Маша и покраснела: она не любила, когда ей не верили.

Мама положила стеклянный букетик к себе на стол и сказала, чтобы Маша не смела дотрагиваться до него даже мизинцем, потому что он очень хрупкий.

В этот вечер букет лежал за спиной у Маши на столе и поблёскивал. Было так тихо, что казалось, всё спит кругом: весь дом, и сад за окнами, и каменный лев, что сидел внизу у ворот и всё сильней белел от снега. Не спали только Маша, отопление и зима. Маша смотрела за окно, отопление пищало свою тёплую песню, а зима всё сыпала и сыпала с неба тихий снег. Он летел мимо фонарей и ложился на землю. И было непонятно, как с такого чёрного неба может слетать такой белый снег. И ещё было непонятно, почему среди зимы и морозов распустились у мамы на столе в корзине красные большие цветы. Но непонятнее всего была седая ворона. Она сидела на ветке за окном и смотрела, не моргая, на Машу.

Ворона ждала, когда Петровна откроет форточку, чтобы проветрить на ночь комнату, и уведёт Машу умываться.

Как только Петровна и Маша уходили, ворона взлетала на форточку, протискивалась в комнату, хватала первое, что попадалось на глаза, и удирала.

Она торопилась, забывала вытереть лапы о ковёр и оставляла на столе мокрые следы.

Петровна каждый раз, возвратившись в комнату, всплёскивала руками и кричала:

— Разбойница! Опять чего-нибудь уволокла!

Маша тоже всплёскивала руками и вместе с Петровной начинала торопливо искать, что на этот раз утащила ворона. Чаще всего ворона таскала сахар, печенье и колбасу.

Жила ворона в заколоченном на зиму ларьке, где летом продавали мороженое. Ворона была скупая, сварливая. Она забивала клювом в щели ларька все свои богатства, чтобы их не разворовали воробьи.

Иной раз по ночам ей снилось, будто воробьи прокрались в ларёк и выдалбливают из щелей кусочки замёрзшей колбасы, яблочную кожуру и серебряную обёртку от конфет. Тогда ворона сердито каркала во сне, а милиционер на соседнем углу оглядывался и прислушивался. Он уже давно слышал по ночам карканье из ларька и удивлялся. Несколько раз он подходил к ларьку и, загордившись ладонями от света уличного фонаря, всматривался внутрь. Но в ларьке было темно, и только на полу белел поломанный ящик.

Однажды ворона застала в ларьке маленького растрёпанного воробья по имени Пашка.

Жизнь для воробьев пришла трудная.

Маловато было овса, потому что лошадей в городе почти не осталось. В прежние времена — их иногда вспоминал Пашкин дед, старый воробей по прозвищу Чичкин, — воробьиное племя все дни толкалось около извозчичьих стоянок, где овёс высыпался из лошадиных торб на мостовую.

А теперь в городе одни машины. Они овсом не кормятся, не жуют его с хрупом, как добродушные лошади, а пьют какую-то ядовитую воду с едким запахом. Воробьиное племя поредело. Иные воробьи подались в деревню, поближе к лошадям, а иные — в приморские города, где грузят на пароходы зерно и потому там воробьиная жизнь сытая и весёлая.

«Раньше, — рассказывал Чичкин, — воробьи собирались стаями по две-три тысячи штук. Бывало, как вспорхнут, как рванут воздух, так не то что люди, а даже извозчичьи лошади шарахались и бормотали: „Господи, спаси и помилуй! Неужто нету на этих сорванцов управы?“

А какие были воробьиные драки на базарах! Пух летел облаками. Теперь таких драк нипочём не допустят...»

Ворона застала Пашку, как только он юркнул в ларёк и не успел ещё ничего выковырять из щели. Она стукнула Пашку клювом по голове.

Пашка упал и завёл глаза: прикинулся мёртвым.

Ворона выбросила его из ларька и напоследок каркнула — выбранилась на всё воробьиное вороватое племя.

Милиционер оглянулся и подошёл к ларьку. Пашка лежал на снегу: умирал от боли в голове и только тихонько открывал клюв.

— Эх ты, беспризорник! — сказал милиционер, снял варежку, засунул в неё Пашку и спрятал варежку с Пашкой в карман шинели. — Невесёлой жизни ты воробей!

Пашка лежал в кармане, моргал глазами и плакал от обиды и голода. Хоть бы склюнуть какую ни на есть крошку! Но у милиционера хлебных крошек в кармане не было, а валялись только бесполезные крошки табаку.

Утром Петровна с Машей пошли гулять в парк. Милиционер подозвал Машу и строго спросил:

— Вам, гражданочка, воробей не требуется? На воспитание?

Маша ответила, что воробей ей требуется, и даже очень. Тогда красное, обветренное лицо милиционера вдруг собралось морщинками. Он засмеялся и вытащил варежку с Пашкой:

— Берите! С варежкой. А то удерёт. Варежку мне потом принесёте. Я с поста сменяюсь не раньше чем в двенадцать часов.

Маша принесла Пашку домой, пригладила ему

перья щёткой, накормила и выпустила. Пашка сел на блюдечко, попил из него чаю, потом посидел на голове у кузнеца, даже начал было дремать, но кузнец в конце концов рассердился, замахнулся молотком, хотел ударить Пашку. Пашка с шумом перелетел на голову баснописцу Крылову. Крылов был бронзовый, скользкий — Пашка едва на нём удержался. А кузнец, осердясь, начал колотить по наковальне — и наколотил одиннадцать раз.

Пашка прожил в комнате у Маши целые сутки и видел вечером, как влетела в форточку старая ворона и украла со стола копчёную рыблю голову. Пашка спрятался за корзину с красными цветами и сидел там тихо.

С тех пор Пашка каждый день прилетал к Маше, поклёвывал крошки и соображал, чем бы Машу отблагодарить. Один раз он принёс ей замёрзшую рогатую гусеницу — нашёл её на дереве в парке. Но Маша гусеницу есть не стала, и Петровна, бранясь, выбросила гусеницу за окно.

Тогда Пашка, назло старой вороне, начал ловко утаскивать из ларька ворованные вещи и приносить их обратно к Маше. То притащит засохшую пастилу, то окаменелый кусочек пирога, то красную конфетную бумажку.

Должно быть, ворона воровала не только у Маши, но и в других домах, потому что Пашка иногда ошибался и притаскивал чужие вещи:

расчёску, игральную карту — трефовую даму — и золотое перо от «вечной» ручки.

Пашка влетал с этими вещами в комнату, бросал их на пол, делал по комнате несколько петель и стремительно, как маленький пушистый снаряд, исчезал за окном.

В этот вечер Петровна что-то долго не просыпалась. Маше было любопытно посмотреть, как ворона протискивается в форточку. Она этого ни разу не видела.

Маша влезла на стул, открыла форточку и спряталась за шкафом. Сначала в форточку летел крупный снег и таял на полу, а потом вдруг что-то закрипело. Ворона влезла в комнату, прыгнула на мамин стол, посмотрелась в зеркало, взъерошилась, увидев там такую же злую ворону, потом каркнула, воровато схватила стеклянный букет и вылетела за окно.

Маша вскрикнула. Петровна проснулась, заохала и заругалась. А мама, когда возвратилась из театра, так долго плакала, что вместе с ней заплакала и Маша. А Петровна говорила, что не надо убиваться, может, и найдётся стеклянный букетик — если, конечно, дура ворона не обронила его в снег.

Утром прилетел Пашка. Он сел отдохнуть на баснописца Крылова, услышал рассказ об украденном букете, нахохлился и задумался.

Потом, когда мама пошла на репетицию в театр, Пашка увязался за ней.

Он перелетал с вывесок на фонарные столбы, с них — на деревья, пока не долетел до театра, там он посидел немного на морде у чугунной лошади, почистил клюв, смахнул лапой слезинку, чирикнул и скрылся.

Вечером мама надела на Машу праздничный белый фартучек, а Петровна накинула на плечи коричневую атласную шаль, и все вместе поехали в театр. А в этот самый час Пашка по приказу Чичкина собрал всех воробьёв, какие жили поблизости, и воробьи всей стаей напали на вороний ларёк, где был спрятан стеклянный букет.

Сразу воробьи не решились, конечно, напасть на ларёк, а расселись на соседних крышах и часа два дразнили ворону. Они думали, что она разозлится и вылетит из ларька. Тогда можно будет устроить бой на улице, где не так тесно, как в ларьке, и где на ворону можно навалиться всем сразу. Но ворона была учёная, знала воробьиные хитрости и из ларька не вылезала.

Тогда воробьи наконец собрались с духом и начали один за другим проскакивать в ларёк.

Там поднялся такой писк, шум и трепыхание, что вокруг ларька тотчас собралась толпа.

Прибежал милиционер. Он заглянул в ларёк и отшатнулся: воробьиный пух летал по всему

ларьку, и в этом пуху ничего нельзя было разобрать.

— Вот это да! — сказал милиционер. — Вот это рукопашный бой по уставу!

Милиционер начал отдирать доски, чтобы открыть заколоченную дверь в ларёк и прекратить драку.

В это время все струны на скрипках и виолончелях в театральном оркестре тихонько вздрогнули.

Высокий человек взмахнул бледной рукой, медленно повёл ею, и под нарастающий гром музыки тяжёлый бархатный занавес качнулся, легко поплыл в сторону, и Маша увидела большую нарядную комнату, залитую жёлтым солнцем, и богатых уродок сестёр, и злую мачеху, и свою маму — худенькую и красивую, в стареньком сером платье.

— Золушка! — тихо вскрикнула Маша и уже не могла оторваться от сцены.

Там, в сиянии голубого, розового, золотого и лунного света, появился дворец. И мама, убегая из него, потеряла на лестнице хрустальную туфельку.

Было очень хорошо, что музыка всё время только то и делала, что печалилась и радовалась за маму, как будто все эти скрипки, гобои, флейты и тромбоны были живыми добрыми существами. Они всячески старались помочь маме вместе с высоким

дирижёром. Он так был занят тем, чтобы помочь Золушке, что даже ни разу не оглянулся на зрительный зал.

И это очень жаль, потому что в зале было много детей с пылающими от восторга щеками.

Даже старые капельдинеры, которые никогда не смотрят спектакли, а стоят в коридорах у дверей с пучками программ в руках и большими чёрными биноклями, — даже эти старые капельдинеры бесшумно вошли в зал, прикрыли за спиной двери и смотрели на Машину маму. А один даже вытирал глаза. Да и как ему было не прослезиться, если так хорошо танцевала дочь его умершего товарища, такого же капельдинера, как и он.

И вот, когда кончился спектакль и музыка так громко и весело запела о счастье, что люди улыбнулись про себя и только недоумевали, почему у счастливой Золушки на глазах слёзы, — вот в это самое время в зрительный зал ворвался, поносившись и поплутав по театральным лестницам, маленький растрёпанный воробей. Было сразу видно, что он выскочил из жестокой драки.

Он закружился над сценой, ослеплённый сотнями огней, и все заметили, что в клюве у него что-то нестерпимо блестит, как будто хрустальная веточка.

Зал зашумел и стих. Дирижёр поднял руку и

остановил оркестр. В задних рядах люди начали вставать, чтобы увидеть, что происходит на сцене. Воробей подлетел к Золушке. Она протянула к нему руки, и воробей на лету бросил ей на ладони маленький хрустальный букет. Золушка дрожащими пальцами приколола его к своему платью.

Дирижёр взмахнул палочкой, оркестр загремел. Театральные огни задрожали от рукоплесканий. Воробей вспорхнул под купол зала, сел на люстру и начал чистить растрёпанные в драке перья.

Золушка кланялась и смеялась, и Маша, если бы не знала наверное, никогда бы не догадалась, что эта Золушка — её мама.

А потом, у себя в доме, когда погасили свет и поздняя ночь вошла в комнату и приказала всем спать, Маша сквозь сон спросила маму:

— Когда ты прикалывала букет, ты вспомнила о папе?

— Да, — ответила, помолчав, мама.

— А почему ты плачешь?

— Потому что радуюсь, что такие люди, как твой папа, бывают на свете.

— Вот и неправда! — пробормотала Маша. — От радости смеются.

— От маленькой радости смеются, — ответила мама, — а от большой — плачут. А теперь

спи!

Маша уснула. Уснула и Петровна. Мама подошла к окну. На ветке за окном спал Пашка. Тихо было в мире, и крупный снег, что падал и падал с неба, всё прибавлял тишины. И мама подумала, что вот так же, как снег, сыплются на людей счастливые сны и сказки.

Рассказы

Барсучий нос

Озеро около берегов было засыпано ворохами желтых листьев. Их было так много, что мы не могли ловить рыбу. Лески ложились на листья и не тонули.

Приходилось выезжать на старом челне на середину озера, где доцветали кувшинки и голубая вода казалась черной, как деготь. Там мы ловили разноцветных окуней, вытаскивали оловянную плотву и ершей с глазами, похожими на две маленьких луны. Щуки ляскали на нас мелкими, как иглы, зубами.

Стояла осень в солнце и туманах. Сквозь облетевшие леса были видны далекие облака и синий густой воздух.

По ночам в зарослях вокруг нас шевелились и дрожали низкие звезды.

У нас на стоянке горел костер. Мы жгли его весь день и ночь напролет, чтобы отгонять волков, — они тихо выли по дальним берегам озера. Их беспокоил дым костра и веселые человеческие крики.

Мы были уверены, что огонь пугает зверей, но однажды вечером в траве, у костра, начал сердито сопеть какой-то зверь. Его не было видно. Он

озабоченно бегал вокруг нас, шумел высокой травой, фыркал и сердился, но не высовывал из травы даже ушей. Картошка жарилась на сковороде, от нее шел острый, вкусный запах, и зверь, очевидно, прибежал на этот запах.

С нами пришел на озеро мальчик. Ему было всего девять лет, но он хорошо переносил ночевки в лесу и холод осенних рассветов. Гораздо лучше нас, взрослых, он все замечал и рассказывал. Он был выдумщик, этот мальчик, но мы, взрослые, очень любили его выдумки. Мы никак не могли, да и не хотели доказывать ему, что он говорит неправду. Каждый день он придумывал что-нибудь новое: то он слышал, как шептались рыбы, то видел, как муравьи устроили себе паром через ручей из сосновой коры и паутины и переправлялись при свете ночной, небывалой радуги. Мы делали вид, что верили ему.

Все, что окружало нас, казалось необыкновенным: и поздняя луна, блиставшая над черными озерами, и высокие облака, похожие на горы розового снега, и даже привычный морской шум высоких сосен.

Мальчик первый услышал фыркание зверя и зашипел на нас, чтобы мы замолчали. Мы притихли. Мы старались даже не дышать, хотя рука невольно тянулась к двустволке, — кто знает, что это мог быть за зверь!

Через полчаса зверь высунул из травы мокрый

черный нос, похожий на свиной пяточок. Нос долго нюхал воздух и дрожал от жадности. Потом из травы показалась острая морда с черными пронзительными глазками. Наконец показалась полосатая шкурка. Из зарослей вылез маленький барсук. Он поджал лапу и внимательно посмотрел на меня. Потом он брезгливо фыркнул и сделал шаг к картошке.

Она жарилась и шипела, разбрызгивая кипящее сало. Мне хотелось крикнуть зверьку, что он обожжется, но я опоздал: барсук прыгнул к сковородке и сунул в нее нос...

Запахло паленой кожей. Барсук взвизгнул и с отчаянным воплем бросился обратно в траву. Он бежал и голосил на весь лес, ломал кусты и плевался от негодования и боли.

На озере и в лесу началось смятение: без времени заорали испуганные лягушки, всполошились птицы, и у самого берега, как пушечный выстрел, ударила пудовая щука.

Утром мальчик разбудил меня и рассказал, что он сам только что видел, как барсук лечит свой обожженный нос.

Я не поверил. Я сел у костра и спросонок слушал утренние голоса птиц. Вдали посвистывали белохвостые кулики, крякали утки, курлыкали журавли на сухих болотах — мшарах, тихо ворковали горлинки. Мне не хотелось двигаться.

Мальчик тянул меня за руку. Он обиделся. Он

хотел доказать мне, что не соврал. Он звал меня пойти посмотреть, как лечится барсук. Я нехотя согласился. Мы осторожно пробрались в чащу, и среди зарослей вереска я увидел гнилой сосновый пень. От него тянуло грибами и йодом.

Около пня, спиной к нам, стоял барсук. Он расковырял пень и засунул в середину пня, в мокрую и холодную труху, обожженный нос. Он стоял неподвижно и холодил свой несчастный нос, а вокруг бегал и фыркал другой маленький барсучок. Он волновался и толкал нашего барсука носом в живот. Наш барсук рычал на него и лягался задними пушистыми лапами.

Потом он сел и заплакал. Он смотрел на нас круглыми и мокрыми глазами, стонал и облизывал своим шершавым языком больной нос. Он как будто просил о помощи, но мы ничем не могли ему помочь.

С тех пор озеро — оно называлось раньше Безымянным — мы прозвали Озером Глупого Барсука.

А через год я встретил на берегах этого озера барсука со шрамом на носу. Он сидел у воды и старался поймать лапой гремящих, как жесть, стрекоз. Я помахал ему рукой, но он сердито чихнул в мою сторону и спрятался в зарослях брусники.

С тех пор я его больше не видел.

Заячы лапы

К ветеринару в наше село пришел с Урженского озера Ваня Малявин и принес завернутого в рваную ватную куртку маленького теплого зайца. Заяц плакал и часто моргал красными от слез глазами...

— Ты что, одурел? — крикнул ветеринар. — Скоро будешь ко мне мышей таскать, оголец!

— А вы не лайте, это заяц особенный, — хриплым шепотом сказал Ваня. — Его дед прислал, велел лечить.

— От чего лечить-то?

— Лапы у него пожженные.

Ветеринар повернул Ваню лицом к двери, толкнул в спину и прикрикнул вслед:

— Валяй, валяй! Не умею я их лечить. Зажарь его с луком — деду будет закуска.

Ваня ничего не ответил. Он вышел в сени, заморгал глазами, потянул носом и уткнулся в бревенчатую стену. По стене потекли слезы. Заяц тихо дрожал под засаленной курткой.

— Ты чего, малый? — спросила Ваню жалостливая бабка Анистья; она привела к ветеринару свою единственную козу. — Чего вы, сердешные, вдвоем слезы льете? Ай случилось что?

— Пожженный он, дедушкин заяц, — сказал тихо Ваня. — На лесном пожаре лапы себе пожег,

бегать не может. Вот-вот, гляди, умрет.

— Не умереть, малый, — прошамкала Анисья. — Скажи дедушке своему, ежели большая у него охота зайца выходить, пушай несет его в город к Карлу Петровичу.

Ваня вытер слезы и пошел лесами домой, на Урженское озеро. Он не шел, а бежал босиком по горячей песчаной дороге. Недавний лесной пожар прошел стороной, на север, около самого озера. Пахло гарью и сухой гвоздикой. Она большими островами росла на полянах.

Заяц стонал.

Ваня нашел по дороге пушистые, покрытые серебряными мягкими волосами листья, вырвал их, положил под сосенку и развернул зайца. Заяц посмотрел на листья, уткнулся в них головой и затих.

— Ты чего, серый? — тихо спросил Ваня. — Ты бы поел.

Заяц молчал.

— Ты бы поел, — повторил Ваня, и голос его задрожал. — Может, пить хочешь?

Заяц повел рваным ухом и закрыл глаза.

Ваня взял его на руки и побежал напрямик через лес — надо было поскорее дать зайцу напиться из озера.

Неслыханная жара стояла в то лето над лесами. Утром наплывали вереницы плотных белых

облаков. В полдень облака стремительно рвались вверх, к зениту, и на глазах уносились и исчезали где-то за границами неба. Жаркий ураган дул уже две недели без передышки. Смола, стекавшая по сосновым стволам, превратилась в янтарный камень.

Наутро дед надел чистые онучи и новые лапти, взял посох и кусок хлеба и побрел в город. Ваня нес зайца сзади.

Заяц совсем притих, только изредка вздрагивал всем телом и судорожно вздыхал.

Суховой вздул над городом облако пыли, мягкой, как мука. В ней летал куриный пух, сухие листья и солома. Издали казалось, что над городом дымит тихий пожар.

На базарной площади было очень пусто, знойно; извозчицьи лошади дремали около водоразборной будки, и на головах у них были надеты соломенные шляпы. Дед перекрестился.

— Не то лошадь, не то невеста — шут их разберет! — сказал он и сплюнул.

Долго спрашивали прохожих про Карла Петровича, но никто толком ничего не ответил. Зашли в аптеку. Толстый старый человек в пенсне и в коротком белом халате сердито пожал плечами и сказал:

— Это мне нравится! Довольно странный вопрос! Карл Петрович Корш, специалист по

детским болезням, уже три года как перестал принимать пациентов. Зачем он вам?

Дед, заикаясь от уважения к аптекарю и от робости, рассказал про зайца.

— Это мне нравится! — сказал аптекарь. — Интересные пациенты завелись в нашем городе! Это мне замечательно нравится!

Он нервно снял пенсне, протер, снова нацепил на нос и уставился на деда. Дед молчал и топтался. Аптекарь тоже молчал. Молчание становилось тягостным.

— Почтовая улица, три! — вдруг в сердцах крикнул аптекарь и захлопнул какую-то растрепанную толстую книгу. — Три!

Дед с Ваней добрали до Почтовой улицы как раз вовремя — из-за Оки заходила высокая гроза. Ленивый гром потягивался за горизонтом, как заспанный силач распрямлял плечи, и нехотя потряхивал землю. Серая рябь пошла по реке. Бесшумные молнии исподтишка, но стремительно и сильно били в луга; далеко за Полями уже горел стог сена, зажженный ими. Крупные капли дождя падали на пыльную дорогу, и вскоре она стала похожа на лунную поверхность: каждая капля оставляла в пыли маленький кратер.

Карл Петрович играл на рояле нечто печальное и мелодичное, когда в окне появилась растрепанная борода деда.

Через минуту Карл Петрович уже сердился.

— Я не ветеринар, — сказал он и захлопнул крышку рояля. Тотчас же в лугах проворчал гром. — Я всю жизнь лечил детей, а не зайцев.

— Что ребенок, что заяц — все одно, — упрямо пробормотал дед. — Все одно! Полечи, яви милость! Ветеринару нашему такие дела неподсудны. Он у нас коновал. Этот заяц, можно сказать, спаситель мой: я ему жизнью обязан, благодарность оказывать должен, а ты говоришь — бросить!

Еще через минуту Карл Петрович, старик с седыми взъерошенными бровями, волнуясь, слушал спотыкающийся рассказ деда.

Карл Петрович в конце концов согласился лечить зайца. На следующее утро дед ушел на озеро, а Ваню оставил у Карла Петровича ходить за зайцем.

Через день вся Почтовая улица, заросшая гусиной травой, уже знала, что Карл Петрович лечит зайца, обгоревшего на страшном лесном пожаре и спасшего какого-то старика. Через два дня об этом уже знал весь маленький город, а на третий день к Карлу Петровичу пришел длинный юноша в фетровой шляпе, назвался сотрудником московской газеты и попросил дать беседу о зайце.

Зайца вылечили. Ваня завернул его в ватное тряпье и понес домой. Вскоре историю о зайце

забыли, и только какой-то московский профессор долго добивался от деда, чтобы тот ему продал зайца. Присылал даже письма с марками на ответ. Но дед не сдавался. Под его диктовку Ваня написал профессору письмо:

«Зяец не продажный, живая душа, пусть живет на воле. При сем остаюсь

Ларион Малявин».

Этой осенью я ночевал у деда Лариона на Урженском озере. Созвездия, холодные, как крупинки льда, плавали в воде. Шумел сухой тростник. Утки зябли в зарослях и жалобно крикали всю ночь.

Деду не спалось. Он сидел у печки и чинил рваную рыболовную сеть. Потом поставил самовар — от него окна в избе сразу запотели и звезды из огненных точек превратились в мутные шары. Во дворе лаял Мурзик. Он прыгал в темноту, лязгал зубами и отскакивал — воевал с непроглядной октябрьской ночью. Заяц спал в сенях и изредка во сне громко стучал задней лапой по гнилой половице.

Мы пили чай ночью, дожидаясь далекого и нерешительного рассвета, и за чаем дед рассказал мне наконец историю о зайце.

В августе дед пошел охотиться на северный

берег озера. Леса стояли сухие, как порох. Деду попался зайчонок с рваным левым ухом. Дед выстрелил в него из старого, связанного проволокой ружья, но промахнулся. Заяц удрал.

Дед пошел дальше. Но вдруг затревожился: с юга, со стороны Лопухов, сильно тянуло гарью. Поднялся ветер. Дым густел, его уже несло белой пеленой по лесу, затягивало кусты. Стало трудно дышать.

Дед понял, что начался лесной пожар и огонь идет прямо на него. Ветер перешел в ураган. Огонь гнало по земле с неслыханной скоростью. По словам деда, даже поезд не мог бы уйти от такого огня. Дед был прав: во время урагана огонь шел со скоростью тридцати километров в час.

Дед побежал по кочкам, спотыкался, падал, дым выедал ему глаза, а сзади был уже слышен широкий гул и треск пламени.

Смерть настигала деда, хватала его за плечи, и в это время из-под ног у деда выскочил заяц. Он бежал медленно и волочил задние лапы. Потом только дед заметил, что они у зайца обгорели.

Дед обрадовался зайцу, будто родному. Как старый лесной житель дед знал, что звери гораздо лучше человека чувствуют, откуда идет огонь, и всегда спасаются. Гибнут они только в тех редких случаях, когда огонь их окружает.

Дед побежал за зайцем. Он бежал, плакал от

страха и кричал: «Погоди, милый, не беги так-то быстро!»

Заяц вывел деда из огня. Когда они выбежали из леса к озеру, заяц и дед — оба упали от усталости. Дед подобрал зайца и понес домой. У зайца были опалены задние ноги и живот. Потом дед его вылечил и оставил у себя.

— Да, — сказал дед, поглядывая на самовар так сердито, будто самовар был всему виной, — да, а перед тем зайцем, выходит, я сильно провинился, милый человек.

— Чем же ты провинился?

— А ты выдь, погляди на зайца, на спасителя моего, тогда узнаешь. Бери фонарь!

Я взял со стола фонарь и вышел в сенцы. Заяц спал. Я нагнулся над ним с фонарем и заметил, что левое ухо у зайца рваное. Тогда я понял все.

Старик в потертой шинели

Есть тысячи деревень у нас в России, затерянных среди полей и перелесков. Тысячи деревень, таких же незаметных, как серое небо, как белоголовые крестьянские дети. Эти дети, встретившись с незнакомым человеком, всегда стоят потупившись, но если уж подымут глаза, то в них блеснет такая доверчивость, что от нее защемит на сердце.

Редко-редко среди бесчисленных Сосновок, Никольских и Горелых Двориков попадетя деревня с заметным, а иной раз и необыкновенным именем, вроде Мыса Доброй Надежды в Тамбовской области или Колыбельки где-то под Острогожском.

Всегда кажется, что деревни с такими удивительными названиями непременно связаны с интересными историями и что от этого и произошли их имена.

Я тоже так думал, пока мало знал деревенскую Россию. Но потом, с годами, когда мне пришлось лучше узнать страну, я убедился, что почти нет такой деревни — даже самой захудалой, — где бы не было своих замечательных историй и людей.

Возьмем, к примеру, окрестности городка Ефремова в нынешней Тульской области — того самого Ефремова, что, по словам Чехова, был самым захолустным из всех уездных городов в России. Какие же глухие деревни должны были окружать этот городок!

На первый взгляд это было действительно так. Но только на первый взгляд.

В 1924 году я прожил все лето под Ефремовом, в деревушке Богово. Шел седьмой год революции, но внешних перемен пока что было еще не так много.

Все те же лысоватые овсяные поля сухо шелестели за околицами, и по ним гулял волнами ветер. Все те же грудные дети в линялых грязных чепчиках лежали в зыбках, облепленные мухами. В базарные дни гремели по большаку телеги, и бабы в онучах тряслись на них и пели визгливыми и притворно веселыми голосами разухабистые песни. И сонно шумела у сгнившей плотины небольшая река Красивая Меча (местные жители называли ее Красивая Мечь).

Пожив в Богове, я узнал, что невдалеке от Ефремова сохранилась усадьба отца Лермонтова, где в разошедшемся доме висит на стене пыльный походный сюртук поэта. Говорили, что Лермонтов останавливался у отца, когда проезжал на Кавказ, в ссылку. Узнал, что на берегах Красивой Мечи охотился Иван Сергеевич Тургенев, а в Ефремове бывали Чехов и Бунин.

Но все это относилось к прошлому. Я же хотел найти черты настоящего, найти людей, связанных с новым временем.

Но, как нарочно, в Богове не было даже ни одного участника гражданской войны — никого, кто был бы свидетелем недавних событий. И тоже, как будто нарочно, в деревне жил какой-то отставной полковник, судя по рассказам, человек одинокий и молчаливый. Почему он поселился в Богове, никто мне не мог объяснить.

— Живет и живет, — говорили крестьяне. — Зла пока что не делает. Снял избу, сам себе варит картоху да от зари до зари сидит с удочкой на речке. Что с него взять — человек престарелый.

— Чего же он здесь живет?

— А шут его знает! Спрашивать его про это вроде как неудобно. Приехал в летошнем году и остался на жительство. Сторона у нас тихая. Ему, бывшему офицеру, тут, конечно, беспокойства поменьше. Сами знаете, офицер теперь вроде как ящурный. Каждый норовит его стороной обойти.

Встретился я с этим отставным полковником на Красивой Мече около мельничной плотины.

Был хмурый холодноватый день, какие иногда выдаются среди лета. Рыхлые облака ползли над землей, и из них нехотя падали капли дождя. Потом дождь стих.

Я пришел на мельничный омут ловить рыбу. На бревне около плотины сидел худой старик с длинной седой бородой, в старой офицерской шинели и серой кепке. Вместо золоченых форменных пуговиц к шинели были пришиты обыкновенные черные пуговицы, как на бабьих салопках.

Старик курил короткую трубку, сделанную из колена газовой трубы. Она была, должно быть, очень тяжелая. Когда старик выбивал ее о бревно, то звук был такой, будто он вколачивает гвозди.

Ловил старик на одну удочку и первое время не обращал на меня внимания.

Я же ловил на три удочки, и потому у меня рыба все время срывалась. Пока я менял червя на одной удочке, на другой, как назло, обязательно клевало. Я хватался за нее, но было уже поздно, и я вытаскивал из воды только обрывок червя. Старик же время от времени неторопливо вываживал больших, свинцового цвета подустов и толстых плотиц.

Он неодобрительно покашливал, поглядывая на мою возню с удочками. Она его, видимо, раздражала. Наконец он не выдержал и сказал:

— Ловить следует, молодой человек, на одну удочку. Для душевного равновесия. А так вы только нервы себе испортите.

Я послушался его, смотал две удочки и начал ловить на одну. Тотчас же я вытащил крупного окуня. Старик усмехнулся.

— Видите! — сказал он. — По трем мишеням сразу из трех винтовок не стреляют, а преимущественно мажут. Вот вы и мажете так безбожно, что обидно смотреть.

С реки мы возвращались в Богово в поздние сумерки. Старик шел медленно, смотрел себе под ноги и ни разу не поднял головы. Поэтому до деревушки мы добрались уже в сырой и неуютной темноте.

Всю дорогу старик рассказывал мне, как варить горох для насадки на подуста, и у меня не было удобного случая, чтобы спросить его, кто же он такой и почему поселился в Богове. Здесь, как я знал, у него не было ни одной близкой души.

Багровые тучи на западе медленно гасли. Заунывно кричала выпь. Снова холодные дождевые капли начали тяжело щелкать по лопухам. И эта угрюмость вечера каким-то образом передалась моим мыслям об одинокой старости, о человеке в потертой шинели, что брел рядом со мной.

Только один раз за время нашего разговора старик упомянул о себе и сказал, что до Первой мировой войны он был комендантом крепости Осовец в Польше. Вот там-то на реке Бобре он ловил и не таких подустов!

Шло лето. Старик упорно молчал о своем прошлом, и спрашивать его об этом было действительно неудобно. Один раз я попытался обиняками узнать у него, не нужно ли ему чем-нибудь помочь, но старик только усмехнулся на мои слова и ничего не ответил.

Вся история с этим стариком становилась что ни день, то загадочнее. Особенно когда я узнал, что каждый месяц он получает какую-то повестку из Ефремова, ходит в город и возвращается оттуда усталый, но довольный. И каждый раз приносит

подарки деревенским детям и своей соседке Насте — многодетной, но не старой еще женщине, брошенной мужем. Детям — липкие леденцы, а Насте то пачку чая, то катушку ниток.

Я никогда не встречал существа более кроткого, чем Настя. Каждое ее слово и движение выдавали беспомощность и доброту. Она всегда виновато улыбалась, торопливо поправляла под платком волосы, и руки у нее дрожали. Смотрела она растерянно, а в избу к ней я просто стеснялся войти — Настя тотчас бросалась вытирать подолом лавку и стол, выгоняла в сени насадку с цыплятами, краснела до слез и все порывалась поставить погнутой позеленевший самовар.

Наконец пришла осень, и я собрался через несколько дней уезжать в Москву.

Иные места покидаешь и все же думаешь, что когда-нибудь сюда вернешься. Это легче, чем оставлять места, хорошо зная, что ты уезжаешь навсегда. При этом непременно возникает горькое чувство, будто ты оставляешь здесь частицу сердца.

Как бы ни было уныло и неприветливо покинутое место, как бы ты ни тяготился пребыванием в нем, всегда остается в душе сожаление, а может быть, и любовь.

Так, должно быть, мать любит своего хилого ребенка, играющего гнилой щепкой. Любит его до

стона, до слез — беспомощного, обреченного на одиночество среди здоровых и смешливых детей.

О ребенке я подумал, очевидно, потому, что такой вот больной и тихий мальчик был у Насти. Звали его Петя.

Ему уже минуло шесть лет, но он почти не умел говорить. Весь день он сидел на дороге, пересыпал пыль из ладони в ладонь и молчал.

Однажды я подошел к нему, присел на корточки и заговорил с ним! Он со страхом взглянул на меня, сморщился и беззвучно затрясся — заплакал, уткнувшись лицом в рукав.

— Ты чего? — спросил я растерянно и дотронулся до его острого плеча, вздрагивающего под застиранной рубашонкой.

Я ничего не понимал. Я видел только огромное, бессловесное и темное горе этого маленького, захлебывающегося от слез существа.

— Ты чего? — повторил я, и внезапно меня, как лезвие ножа, полоснула мысль: «А может быть, он понимает, что с ним?»

Из избы выбежала Настя, схватила мальчика на руки и, как всегда виновато улыбаясь, сказала:

— Он у меня больненький, дурачок, глупенький мой. Вы не гневайтесь. Как его приласкаешь, он завсегда заплачет.

Неожиданно глаза у Насти потемнели, и она сказала злым голосом:

— Я бы их всех своими руками удавила, мужиков этих окаянных, иродов! Только и жизни, что жрать водку цельными ведрами да материться. Наплодят таких вот детей, а у тебя потом сердце изойдет кровью. Мой он мальчик, живой! И некому за него заступиться.

Как только я решил уезжать, мне тотчас захотелось остаться. Все вдруг открылось в новом облиции — и люди, и пажити, и вся эта темная осенняя земля.

Шли дожди, густые пасмурные дни были похожи на рассветы, в избе стало сыро и холодно. И только вороха палых листьев освещали землю своим желтым холодноватым огнем.

Перед отъездом я в последний раз пошел со стариком — звали его Петром Степановичем — на рыбную ловлю. Дожди к тому времени прошли, но над землей по целым дням лежал туман. Он не рассеивался даже к полудню.

Я спросил старика, не нужно ли ему чего-нибудь в Москве.

— Нет, благодарствую, — ответил он. — Я-то Москву больше и не увижу. Здесь дотяну свои дни. Некуда мне ехать, да и незачем. Я старый байбак — у меня ни жены, ни детей. А об друзьях и говорить нечего. Иные умерли, а остальные давно разбрелись-рассыпались кто куда. Да, признаться, в

старой армии у меня и друзей-то не было. Раз-два и обчелся.

— Почему? — спросил я.

— Я — солдатский сын. Отец мой был вахмистром. Родом я, как говорили в старое время, из мужичья, из простонародья. Черная кость. Ежели бы не это, то разве меня уволили бы в отставку из старой армии в чине полковника. Коменданту такой крепости, как Осовец, полагалось быть генералом. А меня, сказать по правде, только терпели за добросовестность да за познания в артиллерийском деле. Артиллерист я неплохой.

— Что же вы не женились?

— Теперь-то оно, конечно, обидно, — ответил старик и остановился передохнуть. Худой, высокий, чуть сгорбленный, он чем-то напоминал мне горестный образ Дон-Кихота. Глаза у старика слезились. Он вытащил красный клетчатый платок и вытер слезы.

— Теперь-то я жалею об этом, — сказал он, отдышавшись. — И не столько потому, что жены не было — бог с ней, с женой, посмотрелся я на этих офицерских жен, — сколько потому, что не было у меня ни дочери, ни сына. А раз заботиться не о ком, то и существование, выходит, пустое. Холодное существование. Вот и возишься тут с чужими детьми, с этакими пузырями.

Я наконец решился спросить:

— Как вы попали в Богово?

— Это, милый мой, длиннейшая история с географией. Расскажешь — все равно не поверите. Некий просто фантастический случай на старости лет. Собственно говоря, попал я сюда просто. Слышал про Красивую Мечу, про прелесть этих мест и решил здесь доживать свой век. Но решению этому предшествовало некое удивительное событие. Я ему и сам до сих пор удивляюсь.

— Какое событие?

— Нервные вы люди! — сказал укоризненно старик. — Я люблю обстоятельный разговор. А у вас все тыр-пыр — и нет ничего! Нету никакого душевного равновесия.

— Хорошо, Петр Степанович, — сказал я виновато. — Я не буду больше перебивать.

— Вот и прелестно! Произошла революция, а я в то время жил уже в отставке в Калязине. Ну, понятно, лишился пенсии, погоны спорол, пуговицы с гербами спорол, а пальтишка гражданского не достал. Не осилил. И понимаю, что надо мне из Калязина подаваться в те места, где меня никто не знает. А в Калязине я как на юру. Понимаю, что надо мне затеряться среди людей. А уж где может быть многолюднее, чем в Москве. Пробрался в Москву, снял угол у старухи-вдовы в Петровском парке. Денег у меня осталось от пенсии — всего ничего. Но тянись, выкраиваю кое-как на

пропитание. Старуха, хозяйка моя, женщина была рыхлая и довольно добрая, должно быть, от болезни, — порок сердца был у нее. И дочка с ней жила, комсомолка. Та меня как будто не замечала. Уж не пойму — действительно не замечала или делала вид. Да я, правду сказать, всегда был покладистый, а особенно — в то время, ежели принять во внимание тогдашнее мое пиковое положение. Лозунг был у таких, как я, один-единственный: сиди тихо и носа без особой надобности из норы не высовывай. Натерла царская армия шею народу своим хомутом. Это я всегда понимал. А в жизни за все приходится расплачиваться.

Да, жил я скудно, скудней не придумаешь, куда наконец не иссякли мои последние рубли. Умирать никому неохота, да и перед хозяйкой совестно. Не спал я две ночи, все думал, да и додумался только до того, чтобы идти милостыню просить, побираться, стать окончательным нищим.

Старик остановился и посмотрел на меня как будто с недоумением.

— Представьте себе, — стать форменным нищим! Это не жизнь, а могильное тление. Сам себе не рад и на себя смотришь с брезгливостью. И все думалось мне тогда — скорей бы бог смерть послал какую угодно, хоть самую подлую, чем жить в таком унижении. Иные привыкают, а я не мог.

Для нищенства тоже нужны сноровка, опыт, актерство. Ничего этого я не имел.

Я нищенствовал в Петровском парке, дальше не выходил, побаивался. Просил поближе к дому. Стою на углу, глаз не поднимаю, совестно прохожим в лицо глядеть. Стою, опираюсь на палку и бормочу что-то такое, что мерзко даже вспомнить сейчас: «Подайте бездомному старику на кусок хлеба». Подавали, прямо скажу, плохо. Шинель моя офицерская всех отпугивала. А бывало, и обижали так, что голова холодела от гнева. Но что поделаешь — сдерживался.

Вечером приду в свой угол, считаю мелочь, медяки — и ничего не вижу. Все туманом застилает. Поверите ли, неоднократно думал о том, чтобы наложить на себя руки. И если бы не один случай, так наложил бы. Не очень бы это дело затягивал.

Мы подошли со стариком к мельничному омуту и сели на сырое бревно — обычное место Петра Степановича.

— Что-то холодно, — пожаловался он и поднял ворот шинели. С изнанки ворот был синевато-серого свежего цвета, а с лица — выгоревший и пожелтевший.

Действительно похолодало, хотя и не было ветра. На облаках появился, как всегда в таких случаях, сизый, почти зимний налет.

— Да, — сказал старик, закуривая трубку, — однажды летом вернулся я домой раньше, чем обыкновенно, с такой получкой, что и не поверите. Какой-то мальчишка подал мне пятак. И все! За весь день. В орлянку он, должно быть, этим пятаком играл — до того он был весь избитый и покалеченный. Его даже в трамвае бы не взяли, не то что на Инвалидном рынке.

Ноги у меня в то время уже начали опухать. Решил — ночью окончу эту тягомотину, нет больше возможности за жизнь бороться. Да и зачем? Кому я нужен, отставной козы барабанщик? И как-то так странно подумалось, что все-таки надо бы попрощаться с родной землей, ясным небом, с солнышком (оно уже клонилось к закату), с птицами и деревьями.

Вышел я на улицу и сел у ворот на лавочку. В ту пору улицы в Петровском парке были вроде как деревенские, позарастили травой и шумели над ними по ветру старые московские липы.

Сижу без всяких мыслей в голове. А наискосок, против нашего домишка, было общежитие летних учеников. Народ насмешливый, буйный. Никому не давали проходу, особенно мне. Как завидят меня, повысунутся из окон и ну давай кричать: «Старый хрыч! Скобелев! Музейная редкость!» А я прохожу, будто глухой.

Сижу я так-то на лавочке и вижу — идет по

нашей стороне господин невысокого роста, в черном костюме, в кепке. Идет неторопливо, руки засунул за спину под пиджак и о чем-то, видимо, размышляет. Остановится, посмотрит на липы, будто ищет в них чего-то, и идет дальше. Поравнялся он со мной, остановился и говорит этак быстро и вроде шутливо:

— Вы разрешите мне с вами посидеть?

— Пожалуйста, — говорю. — Сидеть здесь никому не возбраняется. Только вы подальше от меня садитесь.

Он прищурился, перестал улыбаться и посмотрел на меня очень внимательно.

— Это почему же? — спрашивает.

Я молчу, а он повторяет:

— Это почему же?

— Вы что же, сами не видите, — отвечаю я несколько зло, — что я нищий.

Он опять взглянул на меня и говорит как бы про себя:

— Да, вижу. Худо вам живется.

— Уж чего хуже. Только и тяну, что из человеческой жалости. Побираюсь среди людей.

— Вы бывший офицер?

— Офицер, — отвечаю. — Собака!
Клейменный человек — вот и все!

Он вдруг улыбнулся, да с такой добротой, что я даже несколько опешил.

— Пойдите, — говорит. — Вы не волнуйтесь. Офицеры тоже разные бывали.

— Вот то-то, что разные, а ответ у всех выходит один. Я сам когда-то был комендантом Осовца, всех этих рукоусев, что норовили мордовать солдат, держал в страхе. Преследовал, сколько мог. Русский солдат — святой человек. Это вы запомните. Руками русского солдата вся наша история свершилась, да, кстати, и эта ваша революция.

Тут он откинулся несколько назад и залился таким смехом, что я почувствовал, как заулыбался ему в ответ. Начал он меня расспрашивать про старую армию, про Осовец и про недавнюю войну. Я ему все обстоятельно объяснил. Сказал, между прочим, что мы, военные, давно знали из секретных приказов, что готовится война. Этими моими словами он почему-то особенно заинтересовался и все говорил: «Так-так! Ну-ну! Что же дальше?» — а потом в упор меня спросил:

— А что вы думаете о большевиках? Получится у них что-нибудь?

— Как же, — говорю, — не получится! Что это вы, господин дорогой! Разве сами не видите! Хорошо-то это все хорошо, только следить надо, чтобы нравственного облика народ не терял.

Он снова посмотрел на меня даже как-то пытливо и говорит:

— Совершенно с вами согласен. А так жить, как вы, нельзя. Никак нельзя! Я напишу вам записку в одно место, сходите с этой запиской туда, и вам наверняка помогут.

Вынул блокнот, чего-то быстро там написал и подал мне. Я взял, сложил, засунул в карман. Что мне было в той записке! Кто это будет помогать офицеру? Но, конечно, я его поблагодарил за душевность, и он ушел. А я его вслед спрашиваю:

— Вы что же, гуляете по этим местам?

— Да, — говорит, — я был болен, и врачи приказали мне ежедневно гулять.

Ушел. У меня после этой встречи отлегло от сердца. «Вот, думаю, есть еще благородные и отзывчивые люди на свете. Не погнушался этот господин знакомством со мной, поговорил с нищим, с бывшим офицером».

Сижу так, размышляю. Вижу, бегут ко мне летные ученики. Непонятно почему, но все какие-то взъерошенные, даже бледные. Подбегают, спрашивают: «Вы знаете, с кем вы говорили?» Откуда я знаю — с кем. Но у меня на тех летных учеников такое зло было, так накипело на сердце за «старого хрыча» и «Скобелева», что я весь трясусь. «Знаю, говорю. Убирайтесь отсюда ко всем чертям. Вам бы только над старым человеком насмешничать».

Они сразу осунулись, ушли. А вечером

прислали с каким-то мальчишкой пачку чая и сахара не меньше фунта. «С чего бы это? — думаю. — Значит, прогнал я их, и заговорила в них совесть».

Молодежь я очень люблю. Если бы не было молодежи, то нам и жить было бы незачем. Скука была бы адовая. Так что эти летные ученики — не в счет.

Да, а я опять начал нищенствовать. Что поделаешь! Об этой записке позабыл. Засунул ее в старую книгу Данилевского «Сожженная Москва» — единственное мое достояние — и, представьте, позабыл. А среди зимы меня так зажало, что чувствую — упаду где-нибудь на улице в снег и окочурюсь. Тогда только и вспомнил о записке. Отыскал ее, а она вся помятая, будто жеваная.

На записке адрес написан, какое-то ведомство, — я не разобрал. А мне в то ведомство идти неудобно из-за такого непрезентабельного вида записки. Да и далеко куда-то идти, в центр, в город. Там я за свою нищенскую жизнь ни разу и не был. Все-таки пошел, решился. Хозяйка меня просто заставила идти. «Вы, Петр Степанович, говорит, ребенок, а не отставной полковник. Перед всем пасуете. Удивительно, как это вас назначили комендантом крепости. Вам бы гуманитарные науки преподавать, а не стрелять из пушек».

Иду и глаз не подымаю. С нищенских времен

появилась у меня эта привычка — людям в глаза не смотреть. Так было легче. Не могу от этой привычки до сих пор избавиться. Да вы, должно быть, сами заметили. Старческие привычки очень назойливые, упорные.

Но, в общем, пришел. Ведомство большое, но тихое. Всюду ковровые дорожки лежат. Привратник или швейцар — не знаю, как их теперь называют — говорит мне довольно решительно: «Шинельку надо скинуть, гражданин». А как я ее скину. У меня под ней почти ничего нету. «Уважь, — говорю швейцару, — старика. Не срами. Я вот по этой записке». Показываю ему записку. Он посмотрел, весь заметался, пододвигает мне стул и говорит: «Посидите, папаша. Я мигом о вас доложу». Ушел и возвращается тотчас же. А за ним выходит ко мне средних лет гражданин в очках, лицо строгое, но улыбается ласково. Берет меня под руку и ведет за собой. Я иду, а с моих опорок снег оттаявший сваливается целыми комьями. Набрался я сраму за всю свою жизнь.

Человек этот привел меня в кабинет, усадил в кожаное кресло, спросил, есть ли у меня какие-нибудь документы. Я все, что было, ему отдал. Пропадать так пропадать! Он вышел, а время идет. Прошло полчаса, сижу я один и уже не рад, что ввязался в эту историю. Думал было даже уйти, да никак нельзя без документов. Но тут вернулся

этот человек — видимо, немалый начальник — и протягивает мне пенсионную книжку и ордера на питание и одежду и еще на что-то — не то на дрова, не то на лечение в клинике. Заставляет меня расписаться и дает мне пачку денег. «Это, говорит, в счет первой пенсии. Небось наголодались».

Я глазам своим не верю. Он успокаивает меня: «Что вы волнуетесь, Петр Степанович. Мы, говорит, труд высоко ценим, особенно такого знатока своего дела и честного человека, как вы. Вы получили по заслугам». — «Да откуда вы знаете про мои заслуги?» Он смеется. «Из вашего формуляра, — говорит. — Из вашего послужного списка». Господи! Это из офицерского-то формуляра! Ну и дела!

Попрощались мы с ним, как приятели. Я вышел, плетусь к себе в Петровский парк, головы не подымаю, — и слезы в глазах стоят, и привычку не могу преодолеть.

Дошел до Тверской улицы. Стемнело уже, и зажглись над тротуарами фонари. И витрины магазинов освещены. «Дай, думаю, зайду, куплю хоть хлеба и колбасы какой-нибудь подешевле, хозяйку угощу».

За всю дорогу поднял впервые глаза, и тут меня будто молнией ударило. Портрет в витрине выставлен. Гляжу — он! Тот самый невысокий господин, что дал мне записку! И под портретом

подпись печатная: «В. И. Ленин (Ульянов)». И в соседней витрине — тоже он! Господи твоя воля!

Так я ничего не купил, заторопился домой. Внутри у меня все дрожало, и поверите — всю свою последнюю кровь готов я был отдать за того человека. Освободил он меня из моей душевной тюрьмы. В великом я долгу перед ним и об одном-единственном сейчас жалею, что нечем мне отблагодарить. Нет уже ни сил, ни здоровья, ни времени впереди.

Пришел домой, можно сказать, прибежал, и к дочке хозяйской, к комсомолке, бросился: «Достаньте мне портрет Ленина. Проверить мне надо одно обстоятельство». Она пошла к себе в комнатуху и принесла газету. Называлась она «Беднота». И в газете — его портрет. Да вот он, я его вам покажу.

Старик непослушными пальцами расстегнул шинель и вытащил старый, обвязанный тесемкой бумажник. Он развязал тесемку и вынул из бумажника сильно потертый портрет Ленина, вырезанный из газеты.

— С тех пор всю жизнь его с собой у сердца ношу, — сказал он глухим прерывающимся голосом. — Вот это был человек!

Голова у старика затряслась. Слезы потекли по его желтым сморщенным щекам, но он не вытирал их.

Мы долго сидели молча.

Туман густел, стекал с желтеющих ив большими каплями. Где-то далеко за самым краем земли покрикивал паровоз. Из Богова доносило слабый запах дыма и ржаного хлеба. На дороге за Красивой Мечей простучала телега и девичий голос запел:

Меж высоких хлебов затерялося
Небогатое наше село...

— Вот видите, какая она, наша Россия, — сказал, помолчав, старик. — Я, голубчик, что-то устал. Года! Пойдемте!

Через десять лет случилось мне проезжать по железнодорожной ветке из Тулы в Елец мимо Ефремова.

Снова была осень. Жесткий вагон гремел, как жестяной. Мутно светили электрические лампочки. Вскрапывали усталые пассажиры. Против меня лежал на верхней полке бритый старик в высоких охотничьих сапогах. Разговорились. Оказалось, что старик едет в Ефремов. Он все приглядывался ко мне, потом сказал:

— Вроде знакомая личность. А где я вас встречал — не припоминаю. Не иначе, как в Богове. Оказалось, что это был кузнец из Богова.

Меня он помнил, но я его никак не мог узнать. Кузнец рассказал мне, что отставной полковник умер лет шесть назад.

— Беззлойный был человек, — сказал кузнец. — Пенсию получал от нашего правительства. За какие такие дела — об этом никому не известно. Сам он про это молчал. Жил скудно, деньги вроде копил. Вот и пошел по деревне слух, что скупость его одолела. Оно и верно — к старости человек большей частью скупееет. А на поверку вышло иное. Вышло так, что старик наш как почуял, что смерть близится, почитай, все деньги отдал на нашу школу. Чтобы, говорил, духовного облика народ не терял. И Насте — помните ее — оставил достаточно денег. Очень он страдал об мальчишке ее, об Пете. А Петя в запрошлый год умер. Не жилец был на этом свете! Не жилец! Я так полагаю, что это к лучшему.

В Ефремове кузнец сошел. Я вышел на платформу отдышаться от вагонной духоты. Поезд спал. От него тянуло маслянистым теплом.

Там, в ночи, где, по моим расчетам, находилось Богово и должна была лежать беспросветная тьма, светилось слабое голубоватое зарево.

Я долго гадал, что это за свет сейчас в Богове, но так и не догадался. А спросить было некого.

Все рассказанное выше — подлинная история. Повествование отставного полковника записано по памяти. Единственное, чего не сохранила моя память, это фамилию старика. Кажется, его звали Гавриловым, но утверждать это я не берусь.

Колотый сахар

Северным летом я приехал в городок Вознесенье, на Онежском озере.

Пароход пришел в полночь. Серебряная луна низко висела над озером. Она была ненужной здесь, на Севере, потому что уже давно стояли белые ночи, полные бесцветного блеска. Длинные дни почти ничем не отличались от недолгих ночей: и день и ночь весь этот лесной низкорослый край терялся в сумерках.

Северное лето всегда вызывает тревогу. Оно очень непрочное. Его небогатое тепло может внезапно иссякнуть. Поэтому на Севере начинаешь ценить каждую едва ощутимую струю теплого воздуха, ценить скромное солнце, что превращает озера в зеркала, сияющие тихой водой. Солнце на Севере не светит, а просвечивает как будто через толстое стекло. Кажется, что зима не ушла, а только спряталась в леса, на дно озер и все еще дышит оттуда запахом снега.

В садах отцвели березы. Белобрысые босые

мальчишки сидели на дощатой пристани и удили корюшку. Все вокруг казалось белым, кроме черных больших поплавков. Мальчишки не спускали с них прищуренных глаз и шепотом просили друг у друга дать покурить.

Вместе с мальчишками удил рыбу вихрастый веснушчатый милиционер.

— А ну, давай не курить на пристани! Давай не безобразничать! — покрикивал он изредка, и тотчас же несколько махорочных огоньков падали в белую воду, шипели и гасли.

Я пошел в город искать ночлег. За мной увязался толстый равнодушный человек, стриженный бобриком.

Он ехал на реку Ковжу по лесным делам. Он таскал с собой поседевший портфель со сводками и счетами. Говорил он косноязычно, как бесталанный хозяйственник: «лимитировать расходы на дорогу», «сделать засъемку», «организовать закуску», «перекрыть нормы по линии лесосплава»...

Небо выцветало от скуки от одного присутствия этого человека.

Мы шли по дощатым тротуарам, черемуха цвела в холодных ночных садах, за открытыми окнами горели неяркие лампы.

У калитки бревенчатого дома сидела на скамейке тихая светлоглазая девочка и баюкала тряпичную куклу. Я спросил ее, можно ли

переночевать в их доме. Она молча кивнула и провела меня по скрипучей крутой лестнице в чистую горницу. Человек, стриженный бобриком, упрямо шел следом.

В горнице вязала за столом старуха в железных очках и сидел, прислонившись к стене, худой пыльный старик с закрытыми глазами.

— Бабушка, — сказала девочка и показала на меня куклой, — вот заезжий просится ночевать.

Старуха встала и поклонилась мне в пояс.

— Ночуй, желанный, — сказала она нараспев. — Ночуй, будь гостем дорогим. Только тесно у нас, не взыщи, — придется на полу постелить.

— На низком уровне, значит, жизнь у вас организована, гражданка, — придирчиво сказал человек, стриженный бобриком.

Тогда старик открыл глаза — они были у него почти белые, как у слепого, — и медленно ответил:

— Такого, как ты, ни сон, ни ум не обогатят. Терпи — притерпишься.

— Имей в виду, гражданин, — сказал человек, стриженный бобриком, — с кем разговариваешь! Должно, в милиции не сидел!

Старик молчал.

— Ох, батюшка, — жалобно пропела старуха, — не обижайся на странника! Бездомный он, бродячий старик, чего с него спрашивать?

Человек, стриженный бобриком, оживился. Глаза его сделались сверлящими и свинцовыми. Он тяжело хлопнул портфелем по столу.

— Безусловно, чуждый старик, — сказал он с торжеством. — Надо соображать, кого в дом пускаете. Может, он беглец из концлагеря или подпольный монах? Сейчас мы выясним его личность. Как тебя звать? Откуда родом?

Старик усмехнулся. Девочка уронила куклу, и губы у нее задрожали.

— Родом я отовсюду, — ответил спокойно старик. — Нигде нету для меня чужбины. А зовут меня Александр.

— Чем занимаешься?

— Сеятель я и собиратель, — так же спокойно ответил старик. — В юности хлеб сеял и хлеб собирал, нынче сею доброе слово и собираю иные чудесные слова. Только неграмотен я, вот и приходится все на слух принимать, на память свою полагаться.

Человек, стриженный бобриком, озадаченно помолчал.

— Документы есть?

— Есть-то есть, только не для тебя они писаны, милый человек. Документы у меня дорогие.

— Ну, — сказал человек, стриженный бобриком, — мы найдем того, для кого они писаны.

И он ушел, хлопнув дверью.

— Сырой человек, неспелый, — сказал, помолчав, старик. — От таких бывает в жизни одна суета.

Старуха поставила самовар. Она певуче сокрушалась, что нету у нее в доме ни кусочка сахара: забыла купить. Самовар ей жалобно подпевал. Девочка постелила на стол чистую суровую скатерть. От скатерти пахло ржаным хлебом.

За открытым окном блистала звезда. Она была туманной, очень большой, и странным казалось ее одиночество на громадном зеленеющем небе.

Ночное чаепитие меня не удивило, — давно я заметил, что северным летом люди долго не спят. И сейчас за окном, у калитки соседнего дома, стояли две девушки и, обнявшись, смотрели на тусклое озеро. Как всегда бывает белой ночью, лица девушек казались бледными от волнения, печальными и красивыми.

— Ленинградские это комсомолки, — сказала старуха. — Дочери капитанов. На лето всегда приезжают.

Старик сидел с закрытыми глазами и молчал, как будто прислушивался. Потом он открыл глаза и вздохнул.

— Ведет! — сказал он горестно. — Прости, бабушка, меня, дурака, за доuku.

Лестница скрипела. По ней тяжело подымались люди. Без стука вошел человек, стриженный бобриком. За ним шел вихрастый озабоченный милиционер — тот, что удил рыбу на пристани. Человек, стриженный бобриком, кивнул на старика.

— А ну, давай, дед, — сурово сказал милиционер, — давай выясняй свою личность! Налаживай документы!

— Личность моя простая, — ответил старик, — только рассказывать долго. Садись, слушай.

— Ты поскорей! — сказал милиционер. — Сидеть мне некогда, надо тебя в отделение представить.

— В отделение, родимый, мы завсегда с тобой успеем, в отделении разговор короткий, не с кем душу отвести. Мне седьмой десяток пошел, помру я не нынче завтра на чужом дворе. Значит, должен ты меня вытерпеть.

— Ну, давай, — согласился милиционер. — Только не путай!

— Зачем путать! Жизнь моя чистая, ее не запутаешь. Все мы, Федосьевы, были со стародавних времен ямщики да певуны. Дед мой Прохор был великий певец, по всему тракту от Пскова до Новгорода голос свой пропел, проплакал. Голос беречь надо, он не зря человеку даден, и дед

мой берег, да не уберег — сорвался. Может, знаешь иль нет, жил у нас в Псковской губернии знаменитый земляк Александр Сергеевич, поэт Пушкин.

Милиционер ухмыльнулся:

— Еще бы не знать-то!

— Из-за него дед голос свой и сорвал. Встретились они на ярмарке, в Святогорском монастыре. Дед пел. Пушкин слушал. Потом пошли они в питейное заведение и просидели до ночи. Об чем гуторили, никому не известно, только дед вернулся веселый, как хмельной, хоть вина почти и не пил. Говорил потом бабке: «От слов и от смеха его я захмелел, Настюшка, — такой красоты слова — лучше всякой моей песни». Была у деда одна песня, очень ее Пушкин уважал.

Старик помолчал и вдруг запел звенящим томительным голосом:

Эх, по белым полям, по широким
Наши слезы снежком замело!

Девушки подошли к окну и, обнявшись, слушали. Милиционер осторожно сел на скамью.

— Да, — вздохнул старик, — многие времена прошли, умер дед столетним стариком и песню ту велел петь своим сыновьям и внукам. Однако не про то я говорю. Раз зимой будят деда ночью,

стучат в оконце, велят запрягать по спешной казенной надобности. Вышел дед с крыльца, видит — полно жандармов, ходят, звенят тесаками. Ну, думает, опять везти каторжан. Однако нет никаких арестантов, а на санях черный гроб лежит, веревками увязан. Кого же это, думает, и в могилу, страдальца, в оковах везут, кого ж это царь и после смерти боится? Подошел к гробу, смахнул рукавицей снег с черной крышки и спрашивает жандарма: «Кого повезем?» — «Пушкина, — говорит жандарм. — Убили его в Петербурге». Дед отступил на шаг, скинул шапку и поклонился гробу в пояс. «Ты что ж, знаком ему, что ли?» — спрашивает жандарм. «Песни я ему пел». — «Ну, так теперь петь не будешь!» Ночь была тяжкая, крепкая, дыхание в груди замерзло. Подвязал дед бубенцы, чтобы не гремели, сел на облучок, поехал. Тихо кругом, только полозья свистят да слышно, как тесаки стучат и стучат о гроб глухим стуком. Накипело у деда на сердце, от слез заболели глаза, собрал он весь свой голос и запел:

Эх, по белым полям, по широким...

Жандарм его бьет ножнами в спину, а дед не слышит, поет. Вернулся домой, лег, молчит: голос на морозе застудил. С той поры до самой смерти говорил сипло, одним шепотом.

— От сердца, значит, пел, — пробормотал, сокрушаясь, милиционер.

— Все, родимый, надо от сердца делать, — сказал старик. — А ты ко мне пристаешь, кто я да что. Песни я пою. Такое мое занятие. Хожу промеж людей и пою. Где какую новую песню услышу — запоминаю. К примеру, слово ты сказал — это одно, а слово это самое ты пропел — выходит, сердешный мой, другое, — оно долго в сердце дрожит. Песенную силу беречь надо. Какой народ петь не любит — плевый тот народ, нету у него правильного жизненного понятия. А об документе ты не тревожься, документ я тебе покажу.

Старик вытащил трясущимися руками из-за пазухи серую ладанку и достал оттуда бумажку.

— На, читай!

— Зачем мне читать! — обиделся милиционер. — Мне ее читать нет теперь надобности. Я тебя и так вижу. Сиди, дедушка, отдыхай. А вы, гражданин, — милиционер обернулся к человеку, стриженному бобриком, — лучше шли бы ночевать в дом колхозника, там вам способнее. Идемте, я вас доведу.

Они вышли. Я взял бумажку у старика и прочел: «Дано это удостоверение Александру Федосьеву в том, что он является собирателем народных песен и сказок и получает за это пенсию от правительства Карельской Республики. Всем

местным властям предлагается оказывать ему всяческую помощь».

— Эх, горе! — сказал старик. — Нету хуже, когда у человека душа сухая. Вянет от таких жизнь, как трава от осенней росы.

Мы пили чай. Девушки, обнявшись, ушли к озеру, и в легком ночном сумраке белели их простые ситцевые платья. Тусклая луна опускалась в воду, и в саду среди берез печально крикнула ночная птица.

Светлоглазая девочка вышла на улицу и снова сидела у калитки и баюкала тряпичную куклу. Я видел ее из окна. К ней подошел вихрастый милиционер и сунул ей в руку сверток с сахаром и баранки.

— Давай отнеси дедушке, — сказал он и густо покраснел. — Скажи, гостинец. Мне самому некогда, надо на пост становиться.

Он быстро ушел. Девочка принесла сверток с колотым сахаром и баранки. Старик засмеялся.

— Жил бы я, — сказал он, вытирая слезящиеся глаза, — еще долгое время. Жалко помирать, уходить от ласковости людской, и-и-и как жалко! Как гляну на леса, на светлую воду, на ребят да на травы — прямо силы нет помирать.

— А ты живи, желанный, — сказала старуха. — У тебя легкая жизнь, простая, таким только и жить.

Днем я уехал из Вознесенья в Вытегру. Маленький пароход «Свирь» шел по каналу, задевая бортами за плакун-траву, разросшуюся по берегам.

Городок уходил в солнечный тусклый туман, в тишину и даль летнего дня, и низкорослые леса уже охватывали нас темным кругом. Северное лето стояло вокруг — неяркое, застенчивое, как светлоглазые здешние дети.

Летние дни

Последний черт

Дед ходил за дикой малиной на Глухое озеро и вернулся с перекошенным от страха лицом. Он долго кричал по деревне, что на озере завелись черти. В доказательство дед показывал порванные штаны: черт якобы клюнул деда в ногу, порвал рядно и набил на колене большую ссадину.

Деду никто не верил. Даже сердитые старухи шамкали, что у чертей отродясь не было клювов, что черти на озерах не водятся и, наконец, что после революции чертей вообще нет и быть не может — большевики извели их до последнего корня.

Но все же бабы перестали ходить к Глухому озеру за ягодами. Им стыдно было признаться, что

на двадцатом году революции они боятся чертей, и потому в ответ на упреки бабы отвечали нараспев, пряча глаза:

— И-и-и, милай, ягод нынче нетути даже на Глухом озере. Отродясь такого пустого лета не случалось. Сам посуди: зачем нам зря ходить, лапти уродовать?

Деду не верили еще и потому, что он был чудак и неудачник. Звали деда «Десять прóентов». Кличка эта была для нас непонятна.

— За то меня так кличут, милоч, — объяснил однажды дед, — что во мне всего десять прóентов прежней силы осталось. Свинья меня задрала. Ну и была ж свинья — прямо лев! Как выйдет на улицу, хрюкнет — кругом пусто! Бабы хватают ребят, кидают в избу. Мужики выходят на двор не иначе как с вилами, а которые робкие, те и вовсе не выходят. Прямо турецкая война! Крепко дралась та свинья.

Ну, слухай, что дальше было. Залезла та свинья ко мне в избу, сопит, зыркает на меня злым глазом. Я ее, конечно, тяпнул костылем: «Иди, мол, милая, к лешему, ну тебя!» Тут оно и поднялось! Тут она на меня и кинулась! Сшибла меня с ног; я лежу, кричу в голос, а она меня рветь, она меня терзает! Васька Жуков кричит: «Давай пожарную машину, будем ее водой отгонять, потому ныне убивать свиней запрещено!» Народ толчется,

голосит, а она меня рветь, она меня терзает! Насилу мужики меня цепами от нее отбили. В больнице я лежал. Доктор прямо удивился. «От тебя, говорит, Митрий, по медицинской видимости, осталось не более как десять процентов». Теперь так и перебиваюсь на эти проценты. Вот она какая, жизнь наша, милок! А свинью ту убили разрывной пулей: иная ее не брала.

Вечером мы позвали деда к себе — расспросить о черте. Пыль и запах парного молока висели над деревенскими улицами — с лесных полей пригнали коров. Бабы кричали у калиток, заунывно и ласково скликая телят:

— Тялуш, тялуш, тялуш!..

Дед рассказал, что черта он встретил на протоке у самого озера. Там он кинулся на деда и так долбанул клювом, что дед упал в кусты малины, завизжал не своим голосом, а потом вскочил и бежал до самого Горелого болота.

— Чуть сердце не хряснуло. Вот какая получилась завертка!

— А какой из себя этот черт?

Дед заскреб затылок.

— Ну, вроде птица, — сказал он нерешительно. — Голос вредный, сиплый, будто с простуды. Птица не птица, пес его разберет.

— Не сходить ли нам на Глухое озеро? Все-таки любопытно, — сказал Рувим, когда дед

ушел, попив чаю с баранками.

— Тут что-то есть, — ответил я, — хотя этот дед и считается самым пустяковым стариком от Спас-Клепиков до Рязани.

Вышли на следующий же день. Я взял двустволку.

На Глухое озеро мы шли впервые и потому прихватили с собой провожатым деда. Он сначала отказывался, ссылаясь на свои «десять процентов», потом согласился, но попросил, чтобы ему за это в колхозе выписали два трудовых дня. Председатель колхоза, комсомолец Леня Рыжов, рассмеялся:

— Там видно будет! Ежели ты у баб этой экспедицией дурь из головы выбьешь, тогда выпишу. А пока шагай!

И дед, благословясь, зашагал. В дороге о черте рассказывал неохотно, больше помалкивал.

— А он ест что-нибудь, черт? — спрашивал, посмеиваясь, Рувим.

— Надо полагать, рыбкой помаленьку питается, по земле лазит, ягоды жрет, — говорил, сморкаясь, дед. — Ему тоже промышлять чем-нибудь надо, даром что нечистая сила.

— А он черный?

— Поглядишь — увидишь, — отвечал загадочно дед. — Каким прикинется, таким себя и покажет.

Весь день мы шли сосновыми лесами. Шли

без дорог, перебирались через сухие болота — мшары, где нога тонула по колено в сухих коричневых мхах.

Жара густо настаивалась в хвое. Кричали медведки. На сухих полянах из-под ног дождем сыпались кузнечики. Устало никла трава, пахло горячей сосновой корой и сухой земляникой. В небе над верхушками сосен неподвижно висели ястребы.

Жара измучила нас. Лес был накален, сух, и казалось, что он тихо тлеет от солнечного зноя. Даже как будто попахивало гарью. Мы не курили. Мы боялись, что от первой же спички лес вспыхнет и затрещит, как сухой можжевельник, и белый дым лениво поползет к солнцу.

Мы отдыхали в густых чащах осин и берез, пробирались через заросли на сырые места и дышали грибным прелым запахом травы и корней.

Мы долго лежали на привалах и слушали, как шумят океанским прибоем вершины сосен, — высоко над головой дул медленный ветер. Он был, должно быть, очень горяч.

Только к закату мы вышли на берег озера. Безмолвная ночь осторожно надвигалась на леса глухой синевой. Едва заметно, будто капли воды, блестели первые звезды. Утки с тяжелым свистом летели на ночлег.

Озеро, замкнутое поясом непроходимых зарослей, поблескивало внизу. По черной воде

расплывались широкие круги: играла на закате рыба.

Ночь начиналась над лесным краем, долгие сумерки густели в чащах, и только костер трещал и разгорался, нарушая лесную тишину.

Дед сидел у костра и скреб пятерней худую грудь.

— Ну, где же твой черт, Митрий? — спросил я.

— Тама, — дед неопределенно махнул рукой в заросли осинника. — Куда рвешься? Утром искать будем. Нынче дело ночное, темное, — погодить надо.

На рассвете я проснулся. С сосен капал теплый туман.

Дед сидел у костра и торопливо крестился. Мокрая его борода мелко дрожала.

— Ты чего, дед? — спросил я.

— Доходишься с вами до гибели! — пробормотал дед. — Слышь, кричит, анафема! Слышь? Буди всех!

Я прислушался. Спросонок ударила в озере рыба, потом пронесся пронзительный и яростный крик.

— Уэк! — кричал кто-то. — Уэк! Уэк!

В темноте началась возня. Что-то живое тяжело забилося в воде, и снова злой голос прокричал с торжеством:

— Уэк! Уэк!

— Спаси, владычица троеручица! — бормотал, запинаясь, дед. — Слышь, как зубами кляцает? Дернуло меня с вами сюды переться, старого дурака!

С озера долетали странное щелканье и деревянный стук, будто там дрались палками мальчишки.

Я растолкал Рувима.

— Ну, — сказал дед, — действуйте как желаете. Я знать ничего не знаю. Еще за вас отвечать доведется. Ну вас к лешему!

Дед от страха совсем ошалел.

— Иди стреляй, — бормотал он сердито. — Советско правительство тоже за это по головке не побалуует. Нешто можно в черта стрелять? Ишь чего выдумали!

— Уэк! — отчаянно кричал черт.

Дед натянул на голову армяк и замолк.

Мы поползли к берегу озера. Туман шуршал в траве. Над водой неторопливо подымалось огромное белое солнце.

Я раздвинул кусты волчьей ягоды на берегу, взгляделся в озеро и медленно потянул ружье.

— Что видно? — шепотом спросил Рувим.

— Странно. Что за птица, никак не пойму.

Мы осторожно поднялись. На черной воде плавала громадная птица. Оперение ее

переливалось лимонным и розовым цветом. Головы не было видно, — она вся, по длинную шею, была под водой.

Мы оцепенели. Птица вытащила из воды маленькую голову величиною с яйцо, заросшую курчавым пухом. К голове был как будто приклеен громадный клюв с кожаным красным мешком.

— Пеликан! — крикнул Рувим.

— Уэк! — предостерегающе ответил пеликан и посмотрел на нас красным глазом.

Из пеликаньего клюва торчал хвост толстого окуня. Пеликан тряс шейю, чтобы протолкнуть окуня в желудок.

Тогда я вспомнил о газете: в нее была завернута копченая колбаса. Я бросился к костру, вытряхнул из рюкзака колбасу, расправил засаленную газету и прочел объявление, набранное жирным шрифтом:

«Во время перевозки зверинца по узкоколейной железной дороге сбежала африканская птица пеликан. Приметы: перо розовое и желтое, большой клюв с мешком для рыбы, на голове пух. Птица старая, очень злая, не любит и бьет детей. Взрослых трогает редко. О находке сообщить в зверинец, за приличное вознаграждение».

— Ну, — спросил я, — что будем делать? Стрелять жалко, а осенью он подохнет от голода.

— Дед сообщит в зверинец, — ответил Рувим. — И, кстати, заработает.

Мы пошли за дедом. Дед долго не мог понять, в чем дело. Он молчал, моргал глазами и все скреб худую грудь. Потом, когда понял, пошел с опаской на берег смотреть черта.

— Вот он, твой леший, — сказал Рувим. — Гляди!

— И-и-и, милай... — Дед захихикал. — Да разве я что говорю! Ясное дело — не черт. Пушай живет на воле, рыбку полавливает. А вам спасибо. Ослобонили народ от страха. Теперь девки сюда понапрут за ягодами — только держись! Шалая птица, сроду такой не видал.

Днем мы наловили рыбы и снесли ее к костру. Пеликан поспешно вылез на берег и приковылял к нашему привалу. Он посмотрел на деда прищуренным глазом, как будто что-то стараясь припомнить. Дед задрожал. Но тут пеликан увидел рыбу, разинул клюв, щелкнул им с деревянным стуком, крикнул «уэк» и начал отчаянно бить крыльями и притопывать утиной лапой. Со стороны было похоже, будто пеликан качал тяжелый насос.

От костра полетели угли и искры.

— Чего это он? — испугался дед. — Чумовой, что ли?

— Рыбы просит, — объяснил Рувим.

Мы дали пеликану рыбу. Он проглотил ее,

потом снова начал накачивать крыльями воздух, приседать и топтать ногой: клянчить рыбу.

— Пошел, пошел! — ворчал на него дед. — Бог подаст. Ишь размахался!

Весь день пеликан бродил вокруг нас, шипел и кричал, но в руки не давался.

К вечеру мы ушли. Пеликан влез на кочку, бил нам вслед крыльями и сердито кричал: «Уэк, уэк!» Вероятно, он был недоволен, что мы бросаем его на озере, и требовал, чтобы мы вернулись.

Через два дня дед поехал в город, нашел на базарной площади зверинец и рассказал о пеликане. Из города приехал рябой скучный человек и забрал пеликана.

Дед получил от зверинца сорок рублей и купил на них новые штаны.

— Порты у меня — первый сорт, — говорил он и оттягивал штанину. — Об моих портах разговор идет до самой Рязани. Сказывают, даже в газетах печатали. Весь колхоз наш знаменитость получил через эту дуrolомную птицу. Вот она какая, жизнь наша, милок!

Золотой линь

Когда в лугах покосы, то лучше не ловить рыбу на луговых озерах. Мы знали это, но все-таки пошли на Прорву.

Неприятности начались сейчас же за Чертовым мостом.

Разноцветные бабы копнили сено. Мы решили их обойти стороной, но бабы нас заметили.

— Куда, соколики? — закричали и захохотали бабы. — Кто удит, у того ничего не будет!

— На Прорву подались, верьте мне, бабочки! — крикнула высокая и худая вдова, прозванная Грушей-пророчицей. — Другой пути у них нету, у горемычных моих!

Бабы нас изводили все лето. Сколько бы мы ни ловили рыбы, они всегда говорили с жалостью:

— Ну что ж, на ушицу себе наловили — и то счастье. А мой Петька надысь десять карасей принес. И до чего гладких — прямо жир с хвоста каплет!

Мы знали, что Петька принес всего двух худых карасей, но молчали. С этим Петькой у нас были свои счеты: он срезал у Рувима английский крючок и выследил места, где мы прикармливали рыбу. За это Петьку по рыболовным законам полагалось вздуть, но мы его простили.

Когда мы выбрались в некошенные луга, бабы стихли.

Сладкий конский щавель хлестал нас по груди. Медуница пахла так сильно, что солнечный свет, затопивший рязанские дали, казался жидким медом. Мы дышали теплым воздухом трав, вокруг

нас гулко жужжали шмели и трещали кузнечики.

Тусклым серебром шумели над головой листья столетних ив. От Прорвы тянуло запахом кувшинок и чистой холодной воды. Мы успокоились, закинули удочки, но неожиданно из лугов приплелся дед по прозвищу «Десять процентов».

— Ну, как рыбка? — спросил он, щурясь на воду, сверкавшую от солнца. — Ловится?

Всем известно, что на рыбной ловле разговаривать нельзя.

Дед сел, закурил махорку и начал разуваться. Он долго рассматривал рваный лапоть и шумно вздохнул:

— Изодрал лапти на покосе вконец. Не-ет, нынче клевать у вас не будет, нынче рыба заелась — шут ее знает, какая ей насадка нужна.

Дед помолчал. У берега сонно закричала лягушка.

— Ишь стрекочет, — пробормотал дед и взглянул на небо.

Тусклый розовый дым висел над лугом. Сквозь этот дым просвечивала бледная синева, а над седыми ивами висело желтое солнце.

— Сухомень! — вздохнул дед. — Надо думать, к вечеру ха-ароший дождь натянет.

Мы молчали.

— Лягва тоже не зря кричит, — объяснил дед,

слегка обеспокоенный нашим угрюмым молчанием. — Лягва, милок, перед грозой завсегда тревожится, скачет куды ни попало. Надьсь я ночевал у паромщика, уху мы с ним в казанке варили у костра, и лягва — кило в ней было весу, не меньше — сиганула прямо в казанок, там и сварилась. Я говорю: «Василий, остались мы с тобой без ухи», — а он говорит: «Черта ли мне в той лягве! Я во время германской войны во Франции был, и там лягву едят почем зря. Ешь, не пужайся». Так мы ту уху и схлебали.

— И ничего? — спросил я. — Есть можно?

— Скусная пища, — ответил дед, прищурился, подумал. — Хошь, я тебе пиджак из лыка сплету? Я сплел, милок, из лыка цельную тройку — пиджак, штаны и жилетку — для Всесоюзной выставки. Супротив меня нет лучшего лапотника на весь колхоз.

Дед ушел только через два часа. Рыба у нас, конечно, не клевала.

Ни у кого в мире нет столько самых разнообразных врагов, как у рыболовов. Прежде всего — мальчишки. В лучшем случае они будут часами стоять за спиной и оцепенело смотреть на поплавок.

В худшем случае они начнут купаться поблизости, пускать пузыри и нырять, как лошади. Тогда надо сматывать удочки и менять место.

Кроме мальчишек, баб и болтливых стариков, у нас были враги более серьезные: подводные коряги, комары, ряска, грозы, ненастье и прибыль воды в озерах и реках.

Ловить в кряжистых местах было очень заманчиво, там пряталась крупная и ленивая рыба. Брала она медленно и верно, глубоко топила поплавок, потом запутывала леску о корягу и обрывала ее вместе с поплавком.

Тонкий комариный зуд приводил нас в трепет. Первую половину лета мы ходили все в крови и опухольях от комариных укусов.

В безветренные жаркие дни, когда в небе сутками стояли на одном месте все те же пухлые, похожие на вату облака, в заводях и озерах появлялась мелкая водоросль, похожая на плесень, — ряска. Вода затягивалась липкой зеленой пленкой, такой толстой, что даже грузило ее не могло пробить.

Перед грозой рыба переставала клевать. Она боялась грозы, затишья, когда земля глухо дрожит от далекого грома.

В ненастье и во время прибыли воды клева не было.

Но зато как хороши были туманные и свежие утра, когда тени деревьев лежали далеко на воде и под самым берегом ходили стаями неторопливые пучеглазые голавли! В такие утра стрекозы любили

садиться на перьяные поплавки, и мы с замиранием сердца смотрели, как поплавок со стрекозой вдруг медленно и косо шел в воду, стрекоза взлетала, замочив свои лапки, а на конце лески туго ходила по дну сильная и веселая рыба.

Как хороши были красноперки, падавшие живым серебром в густую траву, прыгавшие среди одуванчиков и кашки! Хороши были закаты в полнеба над лесными озерами, тонкий дым облаков, холодные стебли лилий, треск костра, криканье диких уток.

Дед оказался прав: к вечеру пришла гроза. Она долго ворчала в лесах, потом поднялась к зениту пепельной стеной, и первая молния хлестнула в далекие стога.

Мы просидели в палатке до ночи. В полночь дождь стих. Мы разожгли большой костер и обсохли.

В лугах печально кричали ночные птицы, и белая звезда переливалась над Прорвой в предутреннем небе.

Я задремал. Разбудил меня крик перепела.

— Пить пора! Пить пора! Пить пора! — кричал он где-то рядом, в зарослях шиповника и крушины.

Мы спустились с крутого берега к воде, цепляясь за корни и травы. Вода блестела, как черное стекло. На песчаном дне были видны

дорожки, проложенные улитками.

Рувим закинул удочку недалеко от меня. Через несколько минут я услышал его тихий призывный свист. Это был наш рыболовный язык. Короткий свист три раза значил: «Бросайте все и идите сюда».

Я осторожно подошел к Рувиму. Он молча показал мне на поплавок. Клевала какая-то странная рыба. Поплавок качался, осторожно ерзал то вправо, то влево, дрожал, но не тонул.

Он стал наискось, чуть окунулся и снова вынырнул.

Рувим застыл — так клюет только очень крупная рыба...

Поплавок быстро пошел в сторону, остановился, выпрямился и начал медленно тонуть.

— Топит, — сказал я. — Тащите!

Рувим подсек. Удилище согнулось в дугу, леска со свистом врезалась в воду. Невидимая рыба туго и медленно водила леску по кругам. Солнечный свет упал на воду сквозь заросли ветел, и я увидел под водой яркий бронзовый блеск: это изгибалась и пятилась в глубину пойманная рыба. Мы вытащили ее только через несколько минут. Это оказался громадный ленивый линь со смуглой золотой чешуей и черными плавниками. Он лежал в мокрой траве и медленно шевелил толстым хвостом.

Рувим вытер пот со лба и закурил.

Мы больше не ловили, смотали удочки и пошли в деревню.

Рувим нес линия. Он тяжело свисал у него с плеча. С линия капала вода, а чешуя сверкала так ослепительно, как золотые купола бывшего монастыря. В ясные дни купола были видны за тридцать километров.

Мы нарочно прошли через луга мимо баб. Бабы, завидев нас, бросили работу и смотрели на линия, прикрыв ладонями глаза, как смотрят на нестерпимое солнце.

Бабы молчали. Потом легкий шепот восторга прошел по их пестрым рядам.

Мы шли через строй баб спокойно и независимо. Только одна из них вздохнула и, берясь за грабли, сказала нам вслед:

— Красоту-то какую понесли — глазам больно!

Мы не торопясь пронесли линия через всю деревню. Старухи высовывались из окон и глядели нам в спину. Мальчишки бежали следом и канючили:

— Дядь, а дядь, где пымал? Дядь, а дядь, на што клюнуло?

Дед «Десять процентов» пощелкал линия по золотым твердым жабрам и засмеялся:

— Ну, теперь бабы языки подождут! А то у

них все хахоньки да хихоньки. Теперь дело иное, серьезное.

С тех пор мы перестали обходить баб. Мы шли прямо на них, и бабы нам ласково кричали:

— Ловить вам не переловить! Не грех бы и нам рыбки принести!

Так восторжествовала справедливость.

Кот-ворюга

Мы пришли в отчаяние. Мы не знали, как поймать этого рыжего кота. Он обворовывал нас каждую ночь. Он так ловко прятался, что никто из нас его толком не видел. Только через неделю удалось наконец установить, что у кота разорвано ухо и отрублен кусок грязного хвоста.

Это был кот, потерявший всякую совесть, кот — бродяга и бандит. Звали его за глаза Ворюгой.

Он воровал все: рыбу, мясо, сметану и хлеб. Однажды он даже разрыл в чулане жестяную банку с червями. Их он не съел, но на разрытую банку сбежались куры и склевали весь наш запас червей.

Объевшиеся куры лежали на солнце и стонали. Мы ходили около них и ругались, но рыбная ловля все равно была сорвана.

Почти месяц мы потратили на то, чтобы выследить рыжего кота.

Деревенские мальчишки помогали нам в этом.

Однажды они примчались и, запыхавшись, рассказали, что на рассвете кот пронесся, приседая, через огороды и протащил в зубах кукан с окунями.

Мы бросились в погреб и обнаружили пропажу кукана; на нем было десять жирных окуней, пойманных на Прорве.

Это было уже не воровство, а грабеж среди бела дня. Мы поклялись поймать кота и вздуть его за бандитские проделки.

Кот попался этим же вечером. Он украл со стола кусок ливерной колбасы и полез с ним на березу.

Мы начали трясти березу. Кот уронил колбасу, она упала на голову Рувиму. Кот смотрел на нас сверху дикими глазами и грозно выл.

Но спасения не было, и кот решился на отчаянный поступок. С ужасающим воем он сорвался с березы, упал на землю, подскочил, как футбольный мяч, и умчался под дом.

Дом был маленький. Он стоял в глухом, заброшенном саду. Каждую ночь нас будил стук диких яблок, падавших с веток на его тесовую крышу.

Дом был завален удочками, дробью, яблоками и сухими листьями. Мы в нем только ночевали. Все дни, от рассвета до темноты, мы проводили на берегах бесчисленных протоков и озер. Там мы ловили рыбу и разводили костры в прибрежных

зарослях.

Чтобы пройти к берегу озер, приходилось вытаптывать узкие тропинки в душистых высоких травах. Их венчики качались над головами и осыпали плечи желтой цветочной пылью.

Возвращались мы вечером, исцарапанные шиповником, усталые, сожженные солнцем, со связками серебристой рыбы, и каждый раз нас встречали рассказами о новых босяцких выходках рыжего кота.

Но наконец кот попался. Он залез под дом в единственный узкий лаз. Выхода оттуда не было.

Мы заложили лаз старой рыболовной сетью и начали ждать. Но кот не выходил. Он противно выл, как подземный дух, выл непрерывно и без всякого утомления.

Прошел час, два, три... Пора было ложиться спать, но кот выл и ругался под домом, и это действовало нам на нервы.

Тогда был вызван Ленька, сын деревенского сапожника. Ленька славился бесстрашием и ловкостью. Ему поручили вытащить из-под дома кота.

Ленька взял шелковую леску, привязал к ней за хвост пойманную днем плотицу и закинул ее через лаз в подполье.

Вой прекратился. Мы услышали хруст и хищное щелканье — кот вцепился зубами в рыбу

голову. Он вцепился мертвой хваткой. Ленька потащил за леску. Кот отчаянно упирался, но Ленька был сильнее, и, кроме того, кот не хотел выпускать вкусную рыбу.

Через минуту голова кота с зажатой в зубах плотицей показалась в отверстии лаза.

Ленька схватил кота за шиворот и поднял над землей. Мы впервые его рассмотрели как следует.

Кот зажмурил глаза и прижал уши. Хвост он на всякий случай подобрал под себя. Это оказался тощий, несмотря на постоянное воровство, огненно-рыжий кот-беспризорник с белыми подпалинами на животе.

Рассмотрев кота, Рувим задумчиво спросил:

— Что же нам с ним делать?

— Выдрать! — сказал я.

— Не поможет, — сказал Ленька. — У него с детства характер такой. Попробуйте его накормить как следует.

Кот ждал, зажмурив глаза.

Мы последовали этому совету, втащили кота в чулан и дали ему замечательный ужин: жареную свинину, заливное из окуней, творожники и сметану.

Кот ел больше часа. Он вышел из чулана пошатываясь, сел на пороге и мылся, поглядывая на нас и на низкие звезды зелеными нахальными глазами.

После умывания он долго фыркал и терся головой о пол. Это, очевидно, должно было обозначать веселье. Мы боялись, что он протрет себе шерсть на затылке.

Потом кот перевернулся на спину, поймал свой хвост, пожевал его, выплюнул, растянулся у печки и мирно захрапел.

С этого дня он у нас прижился и перестал воровать.

На следующее утро он даже совершил благородный и неожиданный поступок.

Куры влезли на стол в саду и, толкая друг друга и переругиваясь, начали склевывать из тарелок гречневую кашу.

Кот, дрожа от негодования, прокрался к курам и с коротким победным криком прыгнул на стол.

Куры взлетели с отчаянным воплем. Они перевернули кувшин с молоком и бросились, теря перья, удирать из сада.

Впереди мчался, икая, голенастый петух-дурак, прозванный Горлачом.

Кот несся за ним на трех лапах, а четвертой, передней лапой бил петуха по спине. От петуха летели пыль и пух. Внутри его от каждого удара что-то бухало и гудело, будто кот бил по резиновому мячу.

После этого петух несколько минут лежал в припадке, закатив глаза, и тихо стонал. Его облили

холодной водой, и он отошел.

С тех пор куры опасались воровать. Увидев кота, они с писком и толкотней прятались под домом.

Кот ходил по дому и саду, как хозяин и сторож. Он терся головой о наши ноги. Он требовал благодарности, оставляя на наших брюках клочья рыжей шерсти.

Мы переименовали его из Ворюги в Милиционера. Хотя Рувим утверждал, что это не совсем удобно, но мы были уверены, что милиционеры не будут на нас за это в обиде.

Подарок

Каждый раз, когда приближалась осень, начинались разговоры о том, что многое в природе устроено не так, как нам бы хотелось. Зима у нас длинная, затяжная, лето гораздо короче зимы, а осень проходит мгновенно и оставляет впечатление промелькнувшей за окном золотой птицы.

Разговоры наши любил слушать внук лесника Ваня Малявин, мальчик лет пятнадцати. Он часто приходил к нам в деревню из дедовской сторожки с Урженского озера и приносил то кошелку белых грибов, то решето брусники, а то прибегал просто так — погостить у нас, послушать разговоры и почитать журналы «Вокруг света».

Толстые переплетенные тома этого журнала валялись в чулане вместе с веслами, фонарями и старым ульем. Улей был выкрашен белой клеевой краской. Она отваливалась от сухого дерева большими кусками, и дерево под краской пахло старым воском.

Однажды Ваня принес маленькую выкопанную с корнем березу. Корни он обложил сырым мхом и обернул рогожей.

— Это вам, — сказал он и покраснел. — Подарок. Посадите ее в деревянную кадку и поставьте в теплой комнате, — она всю зиму будет зеленая.

— Зачем ты ее выкопал, чудак? — спросил Рувим.

— Вы же говорили, что вам жалко лета, — ответил Ваня. — Дед меня и надоумил. «Сбегай, говорит, на прошлогоднюю гарь, там березы-двухлетки растут, как трава, — прохожу от них нет никакого. Выкопай и отнеси Руму Исаевичу (так дед называл Рувима). Он о лете беспокоился, вот и будет ему на студеную зиму летняя память. Оно, конечно, весело поглядеть на зеленый лист, когда на дворе снег валит, как из мешка».

— Я не только о лете, я еще больше об осени жалею, — сказал Рувим и потрогал тоненькие листья березы.

Мы принесли из сарая ящик, насыпали его

доверху землей и пересадили в него маленькую березку. Ящик поставили в самой светлой и теплой комнате у окна, и через день опустившиеся ветки березы поднялись, вся она повеселела, и даже листья у нее шумели, когда сквозной ветер врывается в комнату и в сердцах хлопал дверью.

В саду уже поселилась осень, но листья нашей березы оставались зелеными и живыми. Горели темным пурпуром клены, порозовел бересклет, ссыпался дикий виноград на беседке. Даже кое-где на березах в саду появились желтые пряди, как первая седина у нестарого человека. Но береза в комнате, казалось, все молодела. Мы не замечали у нее никаких признаков увядания.

Как-то ночью пришел первый заморозок. Он надышал холодом на стекла в доме, и они запотели, посыпал зернистым инеем крыши, захрустел под ногами. Одни только звезды как будто обрадовались первому морозу и сверкали гораздо ярче, чем в теплые летние ночи. В эту ночь я проснулся от протяжного и приятного звука: пастуший рожок пел в темноте. За окнами едва заметно голубела заря.

Я оделся и вышел в сад. Резкий воздух обмыл лицо холодной водой: сон сразу прошел. Разгорался рассвет. Синева на востоке сменилась багровой мглой, похожей на дым пожара. Мгла эта светлела, делалась все прозрачнее, сквозь нее уже были

видны далекие и нежные страны золотых и розовых облаков.

Ветра не было, но в саду все падали и падали листья. Березы за одну ночь пожелтели до самых верхушек, и листья сыпались с них частым и печальным дождем.

Я вернулся в комнаты: в них было тепло, сонно. В бледном свете зари стояла в кадке маленькая береза, и я вдруг заметил — почти вся она за эту ночь пожелтела, и несколько лимонных листьев уже лежало на полу.

Комнатная теплота не спасла березу. Через день она облетела вся, как будто не хотела отставать от своих взрослых подруг, осыпавшихся в холодных лесах, рощах, на сырых по осени просторных полянах.

Ваня Малявин, Рувим и все мы были огорчены. Мы уже свыклись с мыслью, что в зимние снежные дни береза будет зеленеть в комнатах, освещенных белым светом и багровым пламенем веселых печей. Последняя память о лете исчезла.

Знакомый лесничий усмехнулся, когда мы рассказали ему о своей попытке спасти зеленую листву на березе.

— Это закон, — сказал он. — Закон природы. Если бы деревья не сбрасывали на зиму листья, они бы погибали от многих вещей — и от тяжести

снега, который нарастал бы на листьях и ломал самые толстые ветки, и оттого, что к осени в листве накапливалось бы много вредных для дерева солей, и, наконец, оттого, что листья продолжали бы и среди зимы испарять влагу, а мерзлая земля не давала бы ее корням дерева, и дерево неизбежно погибло бы от зимней засухи, от жажды.

А дед Митрий, по прозвищу «Десять процентов», узнав об этой маленькой истории с березой, истолковал ее по-своему.

— Ты, милоч, — сказал он Рувиму, — поживи с мое, тогда и спорь. А то со мной все споришь, а видать, что умом пораскинуть у тебя еще времени не хватило. Нам, старым, думать способнее, у нас заботы мало — вот и прикидываем, что к чему на земле притесано и какое имеет объяснение. Взять, скажем, эту березу. Ты мне про лесничего не говори, я наперед знаю все, что он скажет. Лесничий мужик хитрый, он, когда в Москве жил, так, говорят, на электрическом току пищу себе готовил. Может это быть или нет?

— Может, — ответил Рувим.

— Может, может! — передразнил его дед. — А ты этот электрический ток видал? Как же ты его видал, когда он видимости не имеет, вроде как воздух? Ты про березу слушай. Промеж людей есть дружба или нет? То-то что есть. А люди заносятся. Думают, что дружба им одним дадена, чванятся

перед всяким живым существом. А дружба — она, брат, кругом, куда ни глянешь. Уж что говорить, корова с коровой дружит и зяблик с зябликом. Убей журавля, так журавлиха исчахнет, исплachtetся, места себе не найдет. И у всякой травы и дерева тоже, надо быть, дружба иногда бывает. Как же твоей березе не облететь, когда все ее товарки в лесах облетели? Какими глазами она весной на них взглянет, что скажет, когда они зимой исстрадались, а она грелась у печки в тепле, да в сытости, да в чистоте? Тоже совесть надо иметь.

— Ну, это ты, дед, загнул, — сказал Рувим. — С тобой не столкнешься.

Дед захихикал.

— Ослаб? — спросил он язвительно. — Сдаешься? Ты со мной не заводись, — бесполезное дело.

Дед ушел, постукивая палкой, очень довольный, уверенный в том, что победил в этом споре нас всех и заодно с нами и лесничего.

Березу мы высадили в сад, под забор, а ее желтые листья собрали и засушили между страниц «Вокруг света».

Этим кончилась наша попытка сохранить зимой память о лете.

Прощание с летом

Несколько дней лил, не переставая, холодный дождь. В саду шумел мокрый ветер. В четыре часа дня мы уже зажигали керосиновые лампы, и невольно казалось, что лето окончилось навсегда и земля уходит все дальше и дальше в глухие туманы, в неуютную темень и стужу.

Был конец ноября — самое грустное время в деревне. Кот спал весь день, свернувшись в старом кресле, и вздрагивал во сне, когда темная дождевая вода хлестала в окна.

Дороги размыло. По реке несло желтоватую пену, похожую на сбитый белок. Последние птицы спрятались под стрехи, и вот уже больше недели, как никто нас не навещал — ни дед Митрий, ни Ваня Малявин, ни лесничий.

Лучше всего было по вечерам. Мы затапливали печи. Шумел огонь, багровые отсветы дрожали на бревенчатых стенах и на старой гравюре — портрете художника Брюллова. Откинувшись в кресле, он смотрел на нас и, казалось, так же как и мы, отложив раскрытую книгу, думал о прочитанном и прислушивался к гудению дождя по тесовой крыше.

Ярко горели лампы, и все пел и пел свою нехитрую песню медный самовар-инвалид. Как только его вносили в комнату, в ней сразу

становилось уютно, может быть, оттого, что стекла запотевали и не было видно одинокой березовой ветки, день и ночь стучавшей в окно.

После чая мы садились у печки и читали. В такие вечера приятнее всего было читать очень длинные и трогательные романы Чарльза Диккенса или перелистывать тяжелые тома журналов «Нива» и «Живописное обозрение» за старые годы.

По ночам часто плакал во сне Фунтик — маленькая рыжая такса. Приходилось вставать и закутывать его теплой шерстяной тряпкой. Фунтик благодарил сквозь сон, осторожно лизал руку и, вздохнув, засыпал. Темнота шумела за стенами плеском дождя и ударами ветра, и страшно было подумать о тех, кого, может быть, застигла эта ненастная ночь в непроглядных лесах.

Однажды ночью я проснулся от странного ощущения. Мне показалось, что я оглох. Я лежал с закрытыми глазами, долго прислушивался и наконец понял, что я не оглох, а попросту за стенами дома наступила необыкновенная тишина. Такую тишину называют «мертвой». Умер дождь, умер ветер, умер шумливый, беспокойный сад. Было слышно, как посапывал во сне кот.

Я открыл глаза. Белый и ровный свет наполнял комнату. Я встал и подошел к окну — за стеклами все было снежно и безмолвно. В туманном небе на головокружительной высоте

стояла одинокая луна, и вокруг нее переливался желтоватый круг.

Когда же выпал первый снег? Я подошел к ходикам. Было так светло, что ясно чернели стрелки. Они показывали два часа.

Я уснул в полночь. Значит, за два часа так необыкновенно изменилась земля, за два коротких часа поля, леса и сады заморозила стужа.

Через окно я увидел, как большая серая птица села на ветку клена в саду. Ветка закачалась, с нее посыпался снег. Птица медленно поднялась и улетела, а снег все сыпался, как стеклянный дождь, падающий с елки. Потом снова все стихло.

Проснулся Рувим. Он долго смотрел за окно, вздохнул и сказал:

— Первый снег очень к лицу земле.

Земля была нарядная, похожая на застенчивую невесту.

А утром все хрустело вокруг: подмерзшие дороги, листья на крыльце, черные стебли крапивы, торчавшие из-под снега.

К чаю приплелся в гости дед Митрий и поздравил с первопутком.

— Вот и умылась земля, — сказал он, — снеговой водой из серебряного корыта.

— Откуда ты это взял, Митрий, такие слова? — спросил Рувим.

— А нешто не верно? — усмехнулся дед. —

Моя мать, покойница, рассказывала, что в стародавние годы красавицы умывались первым снегом из серебряного кувшина, и потому никогда не вяла их красота. Было это еще до царя Петра, милоч, когда по здешним лесам разбойники купцов разоряли.

Трудно было оставаться дома в первый зимний день. Мы ушли на лесные озера. Дед проводил нас до опушки. Ему тоже хотелось побывать на озерах, но «не пушала ломота в костях».

В лесах было торжественно, светло и тихо.

День как будто дремал. С пасмурного высокого неба изредка падали одинокие снежинки. Мы осторожно дышали на них, и они превращались в чистые капли воды, потом мутнели, смерзались и скатывались на землю, как бисер.

Мы бродили по лесам до сумерек, обошли знакомые места. Стаи снегирей сидели нахохлившись на засыпанных снегом рябинах.

Мы сорвали несколько гроздей схваченной морозом красной рябины — это была последняя память о лете, об осени.

На маленьком озере — оно называлось Лариным прудом — всегда плавало много ряски. Сейчас вода в озере была очень черная, но прозрачная, — вся ряска к зиме опустилась на дно.

У берегов выросла стеклянная полоска льда.

Лед был такой тонкий, что даже вблизи его было трудно заметить. Я увидел в воде у берега стаю плотиц и бросил в них маленький камень. Камень упал на лед, лед зазвенел, плотицы, блеснув чешуей, метнулись в глубину, а на льду остался белый зернистый след от удара. Только поэтому мы догадались, что у берега уже образовался слой льда. Мы обламывали руками отдельные льдинки. Они хрустели и оставляли на пальцах смешанный запах снега и брусники.

Кое-где на полянах перелетали и жалобно попискивали птицы. Небо над головой было очень светлое, белое, а к горизонту оно густело, и цвет его напоминал свинец. Оттуда шли медленные снеговые тучи.

В лесах становилось все сумрачнее, все тише, и наконец пошел густой снег. Он таял в черной воде озера, щекотал лицо, порошил серым дымом леса.

Зима начала хозяйничать над землей, но мы знали, что под рыхлым снегом, если разгрести его руками, еще можно найти свежие лесные цветы, знали, что в печках всегда будет трещать огонь, что с нами остались зимовать синицы, и зима показалась нам такой же прекрасной, как лето.

Сивый мерин

На закате колхозных лошадей гнали через брод и луга в ночное. В лугах они паслись, а поздней ночью подходили к огороженным теплым стогам и спали около них стоя, всхрапывая и потряхивая ушами. Лошади просыпались от каждого шороха, от крика перепела, от гудка буксирного парохода, тащившего по Оке баржи. Пароходы всегда гудели в одном и том же месте, около переката, где был виден белый сигнальный огонь. До огня было не меньше пяти километров, но казалось, что он горит недалеко, за соседними ивами.

Каждый раз, когда мы проходили мимо согнанных в ночное лошадей, Рувим спрашивал меня, о чем думают лошади ночью.

Мне казалось, что лошади ни о чем не думают. Они слишком уставали за день. Им было не до размышлений. Они жевали мокрую от росы траву и вдыхали, раздув ноздри, свежие запахи ночи. С берега Прорвы доносился тонкий запах отцветающего шиповника и листьев ивы. Из лугов за Новоселковским бродом тянуло ромашкой и медуницей — ее запах был похож на сладкий запах пыли. Из лощин пахло укропом, из озер — глубокой водой, а из деревни изредка доносился запах только что испеченного черного хлеба. Тогда

лошади подымали головы и ржали.

Однажды мы вышли на рыбную ловлю в два часа ночи. В лугах было сумрачно от звездного света. На востоке уже занималась, синяя, заря.

Мы шли и говорили, что самое безмолвное время суток на земле всегда бывает перед рассветом. Даже в больших городах в это время становится тихо, как в поле.

По дороге на озеро стояло несколько ив. Под ивами спал сивый старый мерин. Когда мы проходили мимо него, он проснулся, махнул тощим хвостом, подумал и побрел следом за нами.

Всегда бывает немного жутко, когда ночью лошадь увяжется за тобой и не отстанет ни на шаг. Как ни оглянешься, она все идет, покачивая головой и перебирая тонкими ногами. Однажды днем в лугах ко мне вот так же пристала ласточка. Она кружилась около меня, задевала за плечо, кричала жалобно и настойчиво, будто я у нее отнял птенца и она просила отдать его обратно. Она летела за мной, не отставая, два часа, и в конце концов мне стало не по себе. Я не мог догадаться, что ей нужно. Я рассказал об этом знакомому деду Митрию, и он посмеялся надо мной.

— Эх ты, безглазый! — сказал он. — Да ты глядел или нет, чего она делала, эта ласточка. Видать, что нет. А еще очки в кармане носишь. Дай покурить, тогда я тебе все объясню.

Я дал ему покурить, и он открыл мне простую истину: когда человек идет по некошеному лугу, он спугивает сотни кузнечиков и жуков, и ласточке незачем выискивать их в густой траве — она летает около человека, ловит их на лету и кормится без всякой заботы.

Но старый мерин нас не испугал, хотя и шел сзади так близко, что иногда толкал меня мордой в спину. Старого мерина мы знали давно, и ничего таинственного в том, что он увязался за нами, не было. Попросту ему было скучно стоять одному всю ночь под ивой и прислушиваться, не ржет ли где-нибудь его приятель, гнедой одноглазый конь.

На озере, пока мы разводили костер, старый мерин подошел к воде, долго ее нюхал, но пить не захотел. Потом он осторожно пошел в воду.

— Куда, дьявол! — в один голос закричали мы оба, боясь, что мерин распугает рыбу.

Мерин покорно вышел на берег, остановился у костра и долго смотрел, помахивая головой, как мы кипятили в котелке чай, потом тяжело вздохнув, будто сказал: «Эх вы, ничего-то вы не понимаете!» Мы дали ему корку хлеба. Он осторожно взял ее теплыми губами, сжевал, двигая челюстями из стороны в сторону, как теркой, и снова уставился на костер — задумался.

— Все-таки, — сказал Рувим, закуривая, — он, наверное, о чем-нибудь думает.

Мне казалось, что если мерин о чем-нибудь и думает, то главным образом о людской неблагодарности и бестолковости. Что он слышал за всю свою жизнь? Одни только несправедливые окрики: «Куда, дьявол!», «Заелся на хозяйских хлебах!», «Овса ему захотелось — подумаешь, какой барин!» Стоило ему оглянуться, как хлестали вожжой по потному боку и раздавался все один и тот же угрожающий крик: «Но-о, оглядывайся у меня!» Даже пугаться ему запрещалось — тотчас возница начинал накручивать вожжами над головой и кричать тонким злорадным голосом: «Боишься-и, черт!» Хомут всегда затягивали, упираясь в него грязным сапогом, и тем же сапогом толкали мерина в брюхо, чтобы он не надувал его, когда застегивали подпругу.

Благодарности не было. А он всю жизнь таскал, хрипя и надсаживаясь, по пескам, по грязи, по липкой глине, по косогорам, по «битым» дорогам и кривым проселкам скрипучие, плохо смазанные телеги с сеном, картошкой, яблоками и капустой. Иногда в песках он останавливался отдохнуть. Бока его тяжело ходили, от гривы подымался пар, но возницы со свистом вытягивали его ременным кнутом по дрожащим ногам и хрипло, с наигранной яростью кричали: «Но-о, идол, нет на тебя погибели!» И мерин, рванувшись, тащил быстро телегу дальше.

Начало быстро светать. Звезды бледнели, быстро уходили от земли в глубину неба. Неожиданно над головой, на огромной высоте, загорелось розовым светом одинокое облачко, похожее на пух. Там, в вышине, уже светило летнее солнце, а на земле еще стоял сумрак, и роса капала с белых зонтичных цветов дягиля в темную, настоявшуюся за ночь воду.

Мерин опустил голову к самой земле, из его глаз выкатилась одинокая старческая слеза, и он уснул.

Утром, когда роса горела от солнца на травах так сильно, что весь воздух вокруг был полон влажного блеска, мерин проснулся и громко заржал. Из лугов шел к нему с недоуздом, перекинутым через плечо, колхозный конюх Петя, недавно вернувшийся из армии белобрысый красноармеец. Мерин пошел к нему навстречу, потерся головой о плечо Пети и безропотно дал надеть на себя недоуздок.

Петя привязал его к изгороди около стога, а сам подошел к нам — покурить и побеседовать насчет клева.

— Вот вы, я гляжу, — сказал он, сплевывая, — ловите на шелковый шнур, а наши огольцы плетут лески из конского волоса. У мерина весь хвост повыдергали, черти! Скоро обмахнуться от овода — и то будет нечем.

— Старик свое отработал, — сказал я.

— Известно, отработал, — согласился Петя. — Старик хороший, душевный.

Он помолчал. Мерин оглянулся на него и тихо заржал.

— Подождешь, — сказал Петя. — Работы с тебя никто не спрашивает — ты и молчи.

— А что он, болен, что ли? — спросил Рувим.

— Да нет, не болен, — ответил Петя, — а только тяги у него уже не хватает. Отслужил. Председатель колхоза — ну, знаете, этот сухорукий — хотел было отправить его к коновалу, снять шкуру, а я воспрепятствовал. Не то чтобы жалко, а так... Все-таки снисхождение к животному надо иметь. Для людей — дома отдыха, а для него — что? Шиш! Так, значит, и выходит — всю жизнь запаривайся, а как пришла старость — так под нож. «Нет, говорю, Леонтий Кузьмич, не имеешь ты в себе окончательной правды. Ты, говорю, за копейкой гонись, но и совесть свою береги. Отдай мне этого мерина, пусть он у меня поживет на вольном воздухе, попасется, — ему и жить-то осталось всего ничего». Поглядите, даже морда у него — и та кругом серая.

— Ну, и что же председатель? — спросил Рувим.

— Согласился. «Только, говорит, я тебе для него не дам ни полпуда овса. Это уже, говорит,

похоже на расточительство». — «А мне, говорю, на ваш овес как будто наплевать, я своим кормить буду». Так вот и живет у меня. Моя старуха, мамаша, сначала скрипела: зачем, мол, этого дармоеда на дворе держим, — а сейчас обвыкла, даже разговаривает с ним, с меринком, когда меня нету. Поговорить, знаете, не с кем, вот она ему и рассказывает всякую всячину. А он и рад слушать... Но-о, дьявол! — неожиданно закричал Петя.

Мерин, ощерив желтые зубы, тихонько грыз изгородь около стога. Петя поднялся.

— Два дня в лугах погулял, теперь пусть постоит во дворе, в сарае, — сказал он и протянул мне черную от дегтя руку. — Прощайте.

Он увел мерина. Тихое утро было полно такой свежести, будто воздух промыли родниковой водой. В озере отражались белые, как первый снег, цветы водокраса. Под ними медленно проплывали маленькие лини. И где-то далеко, в цветущих лугах, добродушно заржал мерин.

Жильцы старого дома

Неприятности начались в конце лета, когда в старом деревенском доме появилась кривоногая такса Фунтик. Фунтика привезли из Москвы.

Однажды черный кот Степан сидел, как

всегда, на крыльце и, не торопясь, умывался. Он лизал растопыренную пятерню, потом, зажмурившись, тер изо всей силы облюбованной лапой у себя за ухом. Внезапно Степан почувствовал чей-то пристальный взгляд. Он оглянулся и замер с лапой, заложенной за ухо. Глаза Степана побелели от злости. Маленький рыжий пес стоял рядом. Одно ухо у него завернулось. Дрожа от любопытства, пес тянулся мокрым носом к Степану — хотел обнюхать этого загадочного зверя.

«Ах, вот как!»

Степан изловчился и ударил Фунтика по вывернутому уху.

Война была объявлена, и с тех пор жизнь для Степана потеряла всякую прелесть. Нечего было и думать о том, чтобы лениво тереться мордой о косяки разошедшихся дверей или валяться на солнце около колодца. Ходить приходилось с опаской, на цыпочках, почаще оглядываться и всегда выбирать впереди какое-нибудь дерево или забор, чтобы вовремя удрать от Фунтика.

У Степана, как и у всех котов, были твердые привычки. Он любил по утрам обходить заросший чистотелом сад, гонять со старых яблонь воробьев, ловить желтых бабочек-капустниц и точить когти на сгнившей скамье. Но теперь приходилось обходить сад не по земле, а по высокому забору,

неизвестно зачем обтянутому заржавленной колючей проволокой и к тому же такому узкому, что временами Степан долго думал, куда поставить лапу.

Вообще в жизни Степана бывали разные неприятности. Однажды он украл и съел плотицу вместе с застрявшим в жабрах рыболовным крючком — и все сошло, Степан даже не заболел. Но никогда еще ему не приходилось унижаться из-за кривоногой собаки, похожей на крысу. Усы у Степана вздрагивали от негодования.

Один только раз за все лето Степан, сидя на крыше, усмехнулся.

Во дворе, среди курчавой гусиной травы, стояла деревянная миска с мутной водой — в нее бросали корки черного хлеба для кур. Фунтик подошел к миске и осторожно вытащил из воды большую размокшую корку.

Сварливый голенастый петух, прозванный Горлачом, пристально посмотрел на Фунтика одним глазом. Потом повернул голову и посмотрел другим глазом. Петух никак не мог поверить, что здесь, рядом, среди бела дня происходит грабеж.

Подумав, петух поднял лапу, глаза его налились кровью, внутри у него что-то заклокотало, как будто в петухе гремел далекий гром. Степан знал, что это значит, — петух разъярился.

Стремительно и страшно, топая мозолистыми

лапами, петух помчался на Фунтика и клюнул его в спину. Раздался короткий и крепкий стук. Фунтик выпустил хлеб, прижал уши и с отчаянным воплем бросился в отдушину под дом.

Петух победно захлопал крыльями, поднял густую пыль, клюнул размокшую корку и с отвращением отшвырнул ее в сторону — должно быть, от корки пахло псиной.

Фунтик просидел под домом несколько часов и только к вечеру вылез и, сторонкой, обходя петуха, пробрался в комнаты. Морда у него была в пыльной паутине, к усам прилипли высохшие пауки.

Но гораздо страшнее петуха была худая черная курица. На шее у нее была накинута шаль из пестрого пуха, и вся она походила на цыганку-гадалку. Купили эту курицу напрасно. Недаром старухи по деревне говорили, что куры делаются черными от злости.

Курица эта летала, как ворона, дралась и по нескольку часов могла стоять на крыше и без перерыва кудахтать. Сбить ее с крыши, даже кирпичом, не было возможности. Когда мы возвращались из лугов или из леса, то издалека была уже видна эта курица — она стояла на печной трубе и казалась вырезанной из жести.

Нам вспоминались средневековые харчевни — о них мы читали в романах Вальтера Скотта. На

крышах этих харчевен торчали на шесте жестяные петухи или куры, заменявшие вывеску.

Так же, как в средневековой харчевне, нас встречали дома бревенчатые темные стены, законопаченные желтым мхом, пылающие поленья в печке и запах тмина. Почему-то старый дом пропах тмином и древесной трухой.

Романы Вальтера Скотта мы читали в пасмурные дни, когда мирно шумел по крышам и в саду теплый дождь. От ударов маленьких дождевых капель вздрагивали мокрые листья на деревьях, вода лилась тонкой и прозрачной струей из водосточной трубы, а под трубой сидела в луже маленькая зеленая лягушка. Вода лилась ей прямо на голову, но лягушка не двигалась и только моргала.

Когда не было дождя, лягушка сидела в лужице под рукомошкой. Раз в минуту ей капала на голову из рукомошки холодная вода. Из тех же романов Вальтера Скотта мы знали, что в Средние века самой страшной пыткой было вот такое медленное капанье на голову ледяной воды, и удивлялись лягушке.

Иногда по вечерам лягушка приходила в дом. Она прыгала через порог и часами могла сидеть и смотреть на огонь керосиновой лампы.

Трудно было понять, чем этот огонь так привлекал лягушку. Но потом мы догадались, что лягушка приходила смотреть на яркий огонь так же,

как дети собираются вокруг неубранного чайного стола послушать перед сном загадочную сказку. Огонь то вспыхивал, то ослабевал от сгоравших в ламповом стекле зеленых мошек. Должно быть, он казался лягушке большим алмазом, где, если долго всматриваться, можно увидеть в каждой грани целые страны с золотыми водопадами и радужными звездами.

Лягушка так увлекалась этой сказкой, что ее приходилось щекотать палкой, чтобы она очнулась и ушла к себе, под сгнившее крыльцо, — на его ступеньках ухитрялись расцветать одуванчики.

Во время дождя кое-где протекала крыша. Мы ставили на пол медные тазы. Ночью вода особенно звонко и мерно капала в них, и часто этот звон совпадал с громким тиканьем ходиков.

Ходики были очень веселые — разрисованные пышными розанами и трилистниками. Фунтик каждый раз, когда проходил мимо них, тихо ворчал — должно быть, для того, чтобы ходики знали, что в доме есть собака, были настороже и не позволяли себе никаких вольностей — не убегали вперед на три часа в сутки или не останавливались без всякой причины.

В доме жило много старых вещей. Когда-то давно эти вещи были нужны обитателям дома, а сейчас они пылились и рассыхались на чердаке, и в них копошились мыши.

Изредка мы устраивали на чердаке раскопки и среди разбитых оконных рам и занавесей из мохнатой паутины находили то ящик от масляных красок, покрытый разноцветными окаменелыми каплями, то сломанный перламутровый веер, то медную кофейную мельницу времен севастопольской обороны, то огромную тяжелую книгу с гравюрами из древней истории, то, наконец, пачку переводных картинок.

Мы переводили их. Из-под размокшей бумажной пленки появлялись яркие и липкие виды Везувия, итальянские ослики, убранные гирляндами роз, девочки в соломенных шляпах с голубыми атласными лентами, играющие в серсо, и фрегаты, окруженные пухлыми мячиками порохового дыма.

Как-то на чердаке мы нашли деревянную черную шкатулку. На крышке ее медными буквами была выложена английская надпись: «Эдинбург. Шотландия. Делал мастер Гальвестон».

Шкатулку принесли в комнаты, осторожно вытерли с нее пыль и открыли крышку. Внутри были медные валики с тонкими стальными шипами. Около каждого валика сидела на бронзовом рычажке медная стрекоза, бабочка или жук.

Это была музыкальная шкатулка. Мы завели ее, но она не играла. Напрасно мы нажимали на спинки жуков, мух и стрекоз — шкатулка была

испорчена.

За вечерним чаем мы заговорили о таинственном мастере Гальвестоне. Все сошлись на том, что это был веселый пожилой шотландец в клетчатом жилете и кожаном фартуке. Во время работы, обтачивая в тисках медные валики, он, наверное, насвистывал песенку о почтальоне, чей рог поет в туманных долинах, и девушке, собирающей хворост в горах. Как все хорошие мастера, он разговаривал с теми вещами, которые делал, и рассказывал им их будущую жизнь. Но, конечно, он никак не мог догадаться, что эта черная шкатулка попадет из-под бледного шотландского неба в пустынные леса за Окой, в деревню, где только одни петухи поют, как в Шотландии, а все остальное совсем не похоже на эту далекую северную страну.

С тех пор мастер Гальвестон стал как бы одним из невидимых обитателей старого деревенского дома. Порой нам даже казалось, что мы слышим его хриплый кашель, когда он невзначай поперхнет дымом из трубки. А когда мы что-нибудь сколачивали — стол в беседке или новую скворечню — и спорили, как держать фуганок или пригнать одну к другой две доски, то часто ссылались на мастера Гальвестона, будто он стоял рядом и, прищулив серый глаз, насмешливо смотрел на нашу возню. И все мы напевали

последнюю любимую песенку Гальвестона:

Прощай, земля, — корабль уходит в море!
Прощай навек, мой теплый отчий дом...

Шкатулку поставили на стол, рядом с цветком герани, и в конце концов забыли о ней.

Но как-то осенью, поздней осенью, в старом и гулком доме раздался стеклянный переливающийся звон, будто кто-то ударял маленькими молотками по колокольчикам, и из этого чудесного звона возникла и полилась мелодия:

В милые горы
Ты возвратишься...

Это неожиданно проснулась после многолетнего сна и заиграла шкатулка. В первую минуту мы испугались, и даже Фунтик вскочил и слушал, осторожно подымая то одно, то другое ухо. Очевидно, в шкатулке соскочила какая-нибудь пружина.

Шкатулка играла долго, то останавливаясь, то снова наполняя дом таинственным звоном, и даже ходики притихли от изумления.

Шкатулка проиграла все свои песни, замолчала, и как мы ни бились, но заставить ее снова играть мы не смогли.

Сейчас, поздней осенью, когда я живу в Москве, шкатулка стоит там в пустых нетопленных комнатах, и, может быть, в непроглядные и тихие ночи она снова просыпается и играет, но ее уже некому слушать, кроме пугливых мышей.

Мы долго потом насвистывали мелодию о милых покинутых горах, пока однажды нам ее не просвистел пожилой скворец, — он жил в скворечне около калитки. До тех пор он пел хриплые и странные песни, но мы слушали их с восхищением. Мы догадывались, что эти песни он выучил зимой в Африке, подслушивая игры негритянских детей. И почему-то мы радовались, что будущей зимой где-то страшно далеко, в густых лесах на берегу Нигера, скворец будет петь под африканским небом песню о старых покинутых горах Европы.

Каждое утро на дощатый стол в саду мы насыпали крошки и крупу. Десятки шустрх синиц слетались на стол и склевывали крошки. У синиц были белые пушистые щеки, и когда синицы все сразу клевали, то было похоже, будто по столу торопливо бьют десятки белых молоточков.

Синицы ссорились, трещали, и этот треск, напоминавший быстрые удары ногтем по стакану, сливался в веселую мелодию. Казалось, что в саду играл на старом столе живой щебечущий музыкальный ящик.

Среди жильцов старого дома, кроме Фунтика,

кота Степана, петуха, ходиков, музыкального ящика, мастера Гальвестона и скворца, были еще прирученная дикая утка, еж, страдавший бессонницей, колокольчик с надписью «Дар Валдая» и барометр, всегда показывавший «великую сушь». О них придется рассказать в другой раз — сейчас уже поздно.

Но если после этого маленького рассказа вам приснится ночная веселая игра музыкального ящика, звон дождевых капель, падающих в медный таз, ворчанье Фунтика, недовольного ходиками, и кашель добряка Гальвестона — я буду думать, что рассказал вам все это не напрасно.

Ценный груз

Штерн вычитал в какой-то книге, что чудаки украшают жизнь. Однако чудака, появившийся у него на пароходе, никому не понравился. Он был в клетчатых чрезмерно широких брюках желтого цвета. Желтизна брюк явно раздражала Штерна, может быть, потому, что все вокруг было серого и мягкого цвета — не только воды Финского залива, но и борта его парохода «Борей». «Борей» был выкрашен в цвет мокрого полотна. Лишь там, где ободралась краска, краснел сурик. По мнению чудака, это было очень живописно; по мнению

Штерна — пароход надо было давным-давно покрасить.

Чудак ходил по палубе среди наваленных ящиков походкой страуса. Он был похож на голенастое тропическое животное пестрой раскраски. Пиджак у него был синий, кепка зеленая, галстук цвета осенних листьев. Он привез с собой чемодан и скрипку в футляре.

Чудак сопровождал в Англию груз игрушек. Можно понять, когда в трюмы наваливают лес, кожу или зерно в мешках, но брать игрушки было обидно. Старые капитаны с соседних пароходов только пожимали плечами.

Игрушки спускали в трюм, по требованию чудака, с такими предосторожностями, как гремучую ртуть.

Помощник Чох — человек суеверный и недовольный земным существованием — выразился в том смысле, что эти «чертовы ляльки не доведут до добра». Штерн потребовал объяснений. Чох пробурчал, что груз легкий, его невозможно закрепить в трюме, и в случае шторма — сами знаете — ящики навалятся на один борт, «Борей» даст крен и... Чох пошел на берег за папиросами.

— Не ваше дело рассуждать! — сказал ему в спину Штерн. — Прикажут, так вы будете грузить у меня коровьи хвосты! Какая разница?!

Раздражение на палубе не утихало. Утром, когда уходили из порта, какой-то матрос крикнул в рупор со «Страны Советов»:

— Благополучно ли взяли груз тещиных языков?

В море висел туман. Штерн почувствовал облегчение — будто туман мог скрыть его легкомысленный груз. Штерн представлял, как любопытные и вежливые пароходы будут осведомляться в море:

— Куда и с каким грузом вы следуете?

— С игрушками в Бельфаст, — ответит вахтенный.

После этого на встречных пароходах начнется необычайное оживление. Их борта запестреют хохочущими рожами матросов. Град насмешек обрушится на команду «Борея». Матросы будут пищать «уйди-уйди», а капитаны орать с мостиков:

— Счастливого плавания с сосками!

Чох прозвал чудака «роман с контрабасом». Действительно, он не внушал уважения. Матросы, обычно равнодушные к пассажирам и грузу, были уязвлены. Они подходили к чудаку и спрашивали, показывая на его красные остроносые туфли и явно издеваясь:

— Сколько дали за эти колеса?

Более нахальные ставили вопрос иначе:

— Почем копыта?

Чудак не обижался. Он охотно отвечал, что заплатил в ГУМе двадцать рублей.

Он был настроен восторженно. К вечеру в морской мгле происходили любопытные вещи. Сквозь туман проглядывали облака, похожие на гигантские шары из розовой ваты, подмигивали далекие маяки, и берега Дании, казалось, пахли свежей селедкой и сливками. Чудак спускался в кают-компанию и говорил Штерну:

— Я очень доволен.

Штерн высоко поднимал брови: поводов для удовольствия не было. Входили в Немецкое море, и барометр падал с упорством часовой гири.

— Будет шторм, — отвечал Штерн и уходил к себе в каюту.

На пятый день плавания за ужином в кают-компании чудак постучал ножом по стакану с нарзаном и попросил слова. Над морем шел тихий и серый дождь. В каюте пылали лампы. Лампы и чудак отражались сразу в четырех зеркалах. Штерн смотрел на чудака в зеркало и видел его профиль с кривым пенсне на мягком и добром носу.

Штерну было неловко. Как капитан, он мог бы остановить чудака и указать ему, что суровые морские традиции не требуют речей. Можно было напомнить, что моряки считают многословие вещью постыдной (в том случае, конечно, если человек не выпил лишнего). Но Штерн пренебрег

недовольными взглядами помощников и безнадежно махнул рукой:

— Пусть говорит.

Чудак сказал следующее:

— Происходит досадное недоразумение. Груз, который я сопровождаю, доставил вам много хлопот. Причина в том, что вы плохо знакомы с игрушечным делом. Вы заражены профессиональной гордостью. Конечно, гораздо почетнее, чем возить игрушки, участвовать в экспедиции на Северный полюс. Я не думал, что моряки так падки на эффектные занятия и так необдуманно враждебны к вещам, каких они попросту не знают.

Эти слова прозвучали объявлением войны. Объявив войну, чудак перешел к сути дела. Он доказывал, что искусство делать игрушки так же почтенно, как и искусство кораблевождения. Он огорошил Чоха сообщением, что некий немецкий игрушечный мастер, делавший оловянных солдатиков, стал миллионером. Он утверждал, что советские игрушки лучшие в мире, а лучшие из лучших «Борей» сейчас везет в Бельфаст на выставку. Он уязвил Штерна, заметив вскользь, что в каюте капитана он заметил маленький парусный корабль, выкрашенный в канареечный цвет. Игрушки — ценный груз. Ломать их имеют право только дети, но никак не портовые грузчики и

команда. Он вызывающе сообщил, что страхи Чоха — вздор. Скажите любому моряку, что корабль может перевернуться от груза игрушек, и он засмеется вам в лицо.

Чох протестовал. Он вспомнил случай, когда в Ленинградском порту грузчик был задавлен кипой ваты. Он отпарировал удар и спросил, не засмеется ли чудаку в лицо первый встречный, которому он расскажет, что человека задавило ватой. Разгорелся спор. Штерн прекратил его, спросив с плохо скрытым любопытством:

— А какие у вас игрушки?

— Двух сортов, — ответил чудака.

Он приволок в кают-компанию чемодан и вывалил на стол румяных матрешек, парусные корабли, зайцев и медвежат.

— Второй сорт, — объяснил чудака. — На таможне английские чиновники вскроют груз большевистских игрушек и приятно поразятся: сотни томных кукол с соболиными бровями будут посылать заученные улыбки. Эти улыбки скроют наш подлинный груз — вот он: это первый сорт.

Чудака встряхнул чемодан, и на стол посыпались комсомолки и пионеры из папье-маше, Буденный на сером коне, красноармейцы с загорелыми лицами, кузнецы, кующие плуги, полисмены с идиотскими рожами, ткачихи у прялок, шахтеры, скрюченные в забоях, десятки

детей на первомайских автомобилях и, наконец, смехотворный король с белыми глазами. При малейшем прикосновении он издавал хриплый лай.

Игрушки пошли по рукам. Младший помощник посадил полисмена на сахарницу, щелкнул по носу и дал ему в рот папиросу. Полисмен яростно вертел злым бисерным глазом. Штерн заспорил с Чохом о парусных кораблях. Чох уверял, что это модели чайных клиперов. Штерн сердился и доказывал, что это бриги. Вытащили книги с описанием старинных кораблей. Радист сел за пианино, и кукла-пионер под опытной рукой механика начала отплясывать чечетку.

В дверь заглядывали ухмыляющиеся матросы. Боцман пришел доложить относительно скорости хода, взял со стола свистульку и показал на ней все двенадцать соловьиных колен.

Волнение перекинулось в кубрик. Рулевой Ширяев хвастал, что может вырезать из одного куска коры модель миноносца вместе с мачтами, трубами и боевой рубкой. Ему не верили. Ширяев клялся и требовал кусок коры, но на «Борее» коры не было. Имена прославленных корабельных модельщиков из Гамбурга, Одессы и Лондона склонялись тысячи раз.

Чох остался тверд в своих суевериях. Значение игрушек он видел в том, что они — особенно плюшевые медвежата — предохраняют от

роковых случайностей.

Штерн рассказал, как дети рабочих в Гавре играют в глухих, занесенных мусором бассейнах гавани, откуда их не гоняет портовая стража. Игрушки их просты. Доски заменяют пароходы, а ржавые гвозди — адмиралтейские якоря. Играют они очень тихо. Их радость сродни печали, настолько она боязлива.

Чудак перебил Штерна и сказал, что в игрушки вкладывается много таланта и теплоты, должно быть, потому, что игрушечные мастера прожили незавидное детство. Ребенок, не знающий игрушек, растет в сухом окружении взрослых. Он даже не может разговаривать с паровозами и зайцами, он не может проделать самую заманчивую вещь — отвертеть голову полисмену и заглянуть внутрь, в полый гипсовый шарик.

— Я понимаю, как обидно и оскорбительно возить кукол в кружевных панталончиках и резиновых негров, предназначенных для комнатной расправы, — сказал чудак. — Вы видите, что наш груз иной. Мы возем игрушки для тех кварталов, где дети играют банками от консервов и высохшими селедочными хвостами. Трудно догадаться, сколько радости и слез лежит в ненавистных вам ящиках в трюмах «Борея». А вы сожалеете о грузе соленых кишок.

Шум затих только к полуночи, когда четыре

склянки прозвучали особенно мелодично в безветрии и тьме.

Штерн поднялся на мостик. «Борей» огибал северные берега Англии. Штерн взглянул на барометр и выругался: с океана шел шторм. Звезды растерянно мигали и заволакивались длинным дымом тумана.

В каюте чудака нежно запела скрипка. Штерн прислушался. Пение скрипки на ночном корабле было так же необыкновенно, как и груз, лежавший в трюмах. Штерн поднес ко рту свисток, помедлил и свистнул. Прибежал вахтенный.

— Передай Чоху, — приказал Штерн, — пусть проверит, как закреплен груз в трюмах. Надвигается шторм.

— Есть! — прокричал вахтенный и побежал, насвистывая, с трапа.

Когда Штерн спускался к себе, в трюмах сияли лампочки, забранные толстыми сетками, и Чох кричал:

— Аккуратнее, это вам не мыло!

Провозились до утра, но груз был закреплен талантливо, как умел крепить только Чох, когда бывал в хорошем настроении.

Чудак до поздней ночи играл на скрипке.

Мрак ударялся о пароходные фонари и бесшумно стекал за корму. Барометр падал

скачками.

Чудак уснул с раскрытой на груди книгой. То был «Давид Копперфильд» Диккенса.

Чудаку приснилась старая Англия — желтые почтовые кареты, бледные девушки, клетчатые фраки стряпчих и стаканы с грогом, выпитым натошак...

В шесть часов утра сон неожиданно прервался. Книга свалилась на пол, и «Борей» покатился в пропасть.

Чудак проснулся и схватил пенсне. Он хотел видеть, что происходит, но ничего не увидел, кроме желтоватой тьмы и плаща, висевшего перпендикулярно к стене. Плащ хлопнул его по лицу. Из-под койки медленно выползло черное чудовище и пошло, шурша, бродить по каюте — то был старый кожаный чемодан.

Чудаку показалось, что «Борей» запрятан в исполинскую бутылку и в нее кто-то дует изо всех сил.

Чудак не сразу понял, что начался шторм. Вначале казалось, что «Борей» вертится, как щепка, под исполинским водопадом. Гвозди трещали в пересохшем дереве, железо взвизгивало, но хуже всего был ровный и внятный вой снаружи — там пели под ураганом снасти.

Чудак быстро кое-как оделся. В кают-компании он застал рассвет. Обстановка

напоминала зимний день в лазарете: яичным пламенем горели забытые лампочки, а около окон, как лужи, расплывался неприятный свет.

Чудак открыл дверь и шагнул на палубу. Утро, зеленое и мутное, ревело и мчалось за бортом. Океан шел стеной. Плач снастей леденил сердце. Чудак ползком пробирался на мостик, но там было еще угрюмее. Оттуда было видно, как «Борей» кипит картофелиной в холодном котле.

Плащи Штерна и младшего помощника промокли насквозь. Штерн тускло улыбнулся чудаку и ткнул пальцем вниз. Чудак похолодел: жест означал, что «Борей» с минуты на минуту может пойти ко дну. Потом он понял, что его вежливо просят убраться в каюту. Он упрямо мотнул головой и остался на мостике.

Штерн больше не обращал на него внимания. Он смотрел вперед и часто дергал ручку машинного телеграфа. Горы воды, наматывая перед собой гигантские валы из пены, мчались на пароход. Одну минуту чудак был уверен, что «Борей» погибает. Пароход с треском ушел в воду, и несколько минут над взмыленным океаном торчали только его красная труба и мостик со Штерном. Потом «Борей» нехотя, вылез из волн, и вода лилась с палубы, как из дырявых ведер. По неподвижной спине Штерна чудак понял, что момент был очень опасный.

Отрезвил чудака яростный крик вниз в рупор, показавшийся шепотом. Голос Штерна прохрипел:

— Чох, как в трюмах, как игрушки?

— Пока живем, — ответило эхо из медной трубы.

Штерн притянул чудака за голову и прокричал ему в ухо:

— Мы должны прорваться в Северный пролив!

Чудак закивал в ответ, но подумал, что ни о каком прорыве не может быть и разговора. «Борей» дергался, как человек во время самосуда, которого то справа, то слева бьют по лицу.

Чудака поражало одно обстоятельство: пароход не прятал носа от ударов, а лез напролом на самые крутые волны. Это походило на храбрость отчаяния или на простое нахальство.

Штерн растянул губы, как будто они были резиновые, и хрипло закричал:

— Одиннадцать баллов!.. Слышите?.. Да... Ночью... Игрушки доведем... Вниз, вниз...

Растянутые губы означали улыбку.

Чудак сполз вниз. В кают-компании на диване лежал стюард¹. Он сокрушался, что придется есть всухомятку, так как камбуз не работает. Мысль о

¹ *Стюард* — мужская прислуга на английских судах, обслуживающая столовые, каюты и т. д.

возможности еды показалась нелепой. Слова стюарда чудак объяснил помешательством.

В три часа над палубой мрачно загудел гудок. Чудак прижался носом к ледяному окну и увидел ржавый пароход со вставшей на дыбы кормой. На мачте его извивались клочья флага. Пароход нырнул кормой в воду и исчез в дожде. Чудак, хотя и не был моряком, заметил одну странность: у «Борея» флаг был на корме, а у встречного парохода флаг висел на половине мачты. Чудак спросил об этом стюарда.

— Что же тут непонятного? — раздраженно ответил стюард. — Просят помощи.

Даже чудак понимал, что просить помощи по меньшей мере глупо. Встречный пароход захлестало пеной и унесло. Лишь изредка подскакивало на переломе волн его красное днище.

Чудак дрожал. Он потерял веру в прочность «Борея» и во всемогущество Штерна. Радист поймал два призыва о помощи. Океан походил на буйного сумасшедшего.

Шторм крепчал. Приближалась ночь, но мысль о сне даже не приходила в голову. Можно было только курить и ждать. Чего? Чудак прятался от мысли о возможной гибели, но в сумерки «Борей» стремительно лег на борт и понесся вниз. Тысячи тонн воды обрушились на палубу.

На мостике отчаянно засвистели.

Побледневший стюард прокричал чудаку:

— Огибаем скалы Рокк! Наверх!

Чудак выскочил и отшатнулся: перед глазами редела белая смерть. Он не заметил скал. Он видел только мощные гейзеры воды, взлетающие высоко в небо. Обмирая от тошноты, он прополз на мостик. «Борей» стремительно падал с борта на борт, черпая воду. Он шел параллельно волнам.

— Что?.. Что?.. — крикнул чудак Штерну, но ветер пробкой закупорил рот и флейтой засвистел на зубах. Штерн даже не посмотрел на него. Он не отрывал глаз от ослепительных белых гейзеров, особенно страшных оттого, что с востока мчалась непроглядная и угрюмая ночь.

Младший помощник вскинул на чудака усталые глаза, схватил за руки и написал пальцем на ладони:

«Огибаем Рокк».

Чудак понял, что наступило самое трудное.

«Борей» боролся из последних сил. Его несло мимо скал. Мутные волны были круты, как стены.

Чудак присел, вцепился в поручни и закрыл глаза. Неистовое желание оглохнуть и ослепнуть наполнило его торопливой тоской. Потом кто-то рванул его за плечи, он мгновенно промок и вскочил: под мостиком прошла, курчавясь, волна, и

в ней килем вверх качалась сорванная с палубы шлюпка. «Борей» высоко вскинул нос и ринулся вниз, мимо последней скалы. Волны хлестали в корму. Машина мелко дрожала.

Штерн вытер лицо рукавом и сплюнул. Он тяжело повернулся к чудаку, стиснул его локоть и повел в кают-компанию. Он молчал, а чудака не решался спрашивать.

— Ну, счастлив ваш груз, — выговорил наконец Штерн. — В такую погоду нельзя огибать Рокк. Все гибнут. Другого выхода не было. Через час мы будем за берегом.

Чудака спросил, зачем понадобилось огибать скалы. Он знал, что во время жестоких штормов пароходы идут против волны и ветра, пока погода не утихнет, и никогда не меняют курса, чтобы не подвергать себя смертельному риску.

— Если бы я вез груз соленых кишок, — прошипел Штерн, — я не менял бы курса. А теперь идите спать!

Чудака покорно пошел в каюту, переоделся и лег. Качка стала мерной и приятной.

Он согрелся и уснул.

Ему приснился город, мохнатый от снега. Снег падал густо и бесшумно, покрывая черепицы домов и мостики пароходов.

Запах приморской зимы был свеж, как весна, — его нельзя было забыть всю жизнь. В

сумерках дрожали миллионы огней.

Штерн вышел на палубу в новом кителе с золотыми шевронами. Его чисто выбритое лицо казалось юношеским.

«Борей» торжественно гудел.

Зажгли громадные факелы, и началась выгрузка. От ящиков с игрушками шел запах краски.

Чудак сошел на берег и заблудился в мягких от снега переулках. Он встречал стариков, похожих на героев Жюль Верна. Он с наслаждением вдыхал крепкий дым их трубок.

Город был пропитан запахом старых кораблей. На бульварах румяные и смешливые няни рассказывали детям о «Борее». Он прорвался через шторм, страшный, как кончина мира, и холодный, как ледяной компресс, чтобы привезти им игрушки. Глаза детей синели от восторга и непонятных слез.

Снег и пламя в каминах воскрешали чудесные времена из сказок Андерсена, Чудак увидел на снегу узкие следы Золушки. Снег под ее ступней растаял: у нее были очень теплые и маленькие ноги. Чудак пошел по следам. Они вели к «Борею».

Золушка стояла на корабле и говорила со Штерном. Штерн дружелюбно улыбался. Она повернулась к чудаку, и он отступил: лицо ее казалось созданным из блеска глаз и радости, на темных волосах белели снежинки, платье цвета

морской воды играло разными красками от подымавшихся над городом ракет. Ракеты возвещали начало большого зимнего праздника.

Чудак проснулся. Было тихо. Он вышел на палубу и увидел в немом свете зари Бельфаст — старинный город с непогашенными огнями, закутанный в пуховый туман. Пахло осенней травой. «Борей», посапывая паром, качался и медленно кланялся городу.

Соранг

Экспедиция капитана Скотта к Южному полюсу погибла в страшных буранах, разразившихся в Антарктике весной 1911 года.

Шесть человек вышли к полюсу на лыжах от ледяной стены Росса.

Шли больше месяца. До полюса дошло пять человек. Один сорвался в расщелину и умер от сотрясения мозга.

Вблизи полюса Скотт, шедший впереди, внезапно остановился: на снегу что-то чернело. То была палатка, брошенная Амундсеном. Норвежец опередил англичан.

Скотт понял, что это конец, что после этого им не осилить обратного пути в тысячу километров, не протащить по обледенелым снегам окровавленных ног. Тогда всем поровну был роздан

яд.

На обратном пути заболел молчаливый шотландец, лейтенант Отс. У него начиналась гангрена обеих ног. Каждый шаг вызывал острую боль, сукровица сочилась сквозь потертые олени сапоги и застывала на лыжах каплями воска. Отс знал, что он задерживает экспедицию, что из-за него могут погибнуть все. И он нашел выход.

В дневнике Скотта, найденном вместе с четырьмя трупами год спустя после экспедиции, об этом говорится так:

«Одиннадцатое марта. За последние сутки мы сделали три мили. Несмотря на нечеловеческую боль, Отс не отставал от нас, но мы шли гораздо тише, чем могли бы. Вчера он попросил оставить его в спальном мешке на снегу, но мы не смогли этого сделать и уговорили его идти дальше. До последнего дня он не терял, не позволял себе терять надежду. К ночи мы остановились. Отс дал мне записку и просил передать родным, если мы останемся в живых. Потом он встал и сказал, глядя мне в глаза: „Я пойду. Должно быть, вернусь не скоро“. Мы молчали. Отс вышел из палатки и ушел в метель. Он проваливался в снег и пачкал его кровью. Было два часа ночи. Он не вернулся. Он поступил, как благородный человек».

Перед дневником капитана Скотта вся литература кажется праздною болтовней — перед

этим дневником смерти, дневником людей, безропотно гибнущих от гангрены, голода и потрясающей стужи в ледяных пустынях Антарктики.

В конце дневника Скотт написал дрожащими буквами:

«Я обращаюсь ко всему человечеству. Оно должно знать, что мы рисковали, рисковали сознательно, но нам во всем была неудача. Если бы мы остались живы, я рассказал бы такие вещи о высоком мужестве и простом величии моих товарищей, что они потрясли бы каждого человека. Мы гибнем, но не может быть, чтобы такая богатая страна, как Англия, не позаботилась о наших близких».

Скотт ошибся: Англия не позаботилась о его близких.

Записка лейтенанта Отса на имя Анны О'Нейл попала в руки русского матроса Василия Седых, участника экспедиции, нашедшей трупы Скотта и троих его спутников.

Анну О'Нейл Седых разыскал только после войны, в 1918 году, в приморском городке на севере Шотландии.

Было начало зимы. Снег, похожий на старое серебро, лежал на окрестных полях, и океан вздыхал у берегов, отсыпаясь перед зимними штормами.